

Когда-нибудь
или
С карусели земли...

Иоланта Сержантова



12+

Иоланта Ариковна Сержантова

Когда-нибудь или С карусели земли...

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=67972163

SelfPub; 2022

ISBN 978-5-00207-051-0

Аннотация

Книга о красоте, которая в природе Родины, в отношениях между людьми, в воспоминаниях.

«Когда-нибудь...» – это почти всегда означает только одно: никогда... И, рано или поздно, все мы сходим с карусели земли. Надо успеть вдоволь насладиться этим кружением. Все персонажи являются вымышленными, сходство с реальными событиями и людьми случайно.

Рекомендуется для внеклассного чтения, для использования на уроках русской литературы, этики и природоведения

Содержание

Моя милая тётушка...	6
А чтоб было тогда...	10
Главное	12
Свобода	15
Земля...	18
Мозаика небес	20
Жизнь	22
Надо спросить ужа...	24
По-птичьи	26
О надежде и любви	28
Обычное	31
Мы учимся...	33
Повадки людей	35
Круговорот	37
То было поутру...	39
Болтовня	42
Журавль по небу летит...	45
Врану – враново...	47
Первый полёт	50
Без названия	53
Утерянное счастье	55
Кусочек солнышка	57
Гневливо	59

Всё одно	61
Чёрный пёс	64
Он умеет	66
Сойдя с карусели земли	68
Солнечный свет	70
Приметы времени	72
За окном	75
Противные они...	77
Памятка обучающимся	80
О горЕ и гОре	83
Жалью жаль	85
В шкатулке моря...	87
Цапля и баклан	89
Всего-то...	91
Сойка	93
Казалось...	95
Благодарность	97
Саранча	99
Отцу	102
Впору	106
Судьба	108
Стирка	110
Нет веры августу...	112
В самом деле...	114
Мало ли что	117
Почти что осень...	121

Под вуалью морщин	123
Ни-че-го...	126
Я и он	129
Непогодица...	131
Лишнее	133
Болото	135
Пора	139
Сказка на ночь	142
Следующий раз	144
Уже и всего	147
Когда-нибудь	150

Иоланта Сержантова

Когда-нибудь или С карусели земли...

Моя милая тётушка...

Моя милая тётушка, которую я любил всем сердцем, помимо массы достоинств, обладала некой безобидной странностью, которая отличала её от прочих. Иногда во время разговора, чтения или обеда, сколь бы парадным тот ни был, она замирала и красиво, несколько по-змеиному подняв подбородок кверху, мечтательно улыбалась. Бывало, что сим дело и заканчивалось, реже тётушка прибавляла к этому, легко касаясь шеи, словно до чужой. Со стороны казалось, что она проверяет, – достаточно ли та упруга и не пора ли надевать кружевной воротник, дабы скрыть заметную ей одной дряблость.

Я не придавал этой причуде никакого значение, ибо привык к ней с детства, но малознакомые особы, бывало, прискакивали в салфетку, или недоуменно воздевали брови ближе к начёсу, неодобрительно поджимая губы.

Надо сказать, что тётушка была более, чем церемонна, но безмерно добра, поэтому, уравнивая умышленную и непреднамеренную невоспитанность, она не относила к себе всякие проявления излишнего любопытства, и никогда, ни при ком не изменяла своей привычке.

Вообще же, наблюдать за тем, как вкушает тётушка, было истинным наслаждением. Будь то самая простая пища или деликатное блюдо, приготовленное для неё одной или для гостей, стол сервировался по всем правилам: серебряные столовые приборы, хрустальные вазочки, обширные тарелки рисового фарфора, да множество иных мелочей, радующих глаз, возбуждающих аппетит и пробуждающих утончённость.

Я любил бывать у тётушки! И в пору юности, и позже, когда изо всего многочисленного семейства, казалось, только у неё одной имелось вдоволь терпения, дабы выслушивать про мои безумства и прожекты. Снисходя к неопытности любимого племянника, тётушка находила верные слова, чтобы направить мою энергию в нужное русло, не ущемляя самолюбия.

В тот день, когда тётушка ушла в лучший мир, я был воистину безутешен. Разглядывая её неплотно сомкнутые веки, рыдал и напрасно тщился перехватить взгляд голубых, неко-

гда прекрасных глаз, что глядели мимо меня, мимо жизни, рассматривая подробности той вечности, которая поджидает каждого.

Вконец разбитый и в крайнем расстройстве нервов, я оставил свет, поселившись в имении, доставшемся мне от тётушки. Полный горьких сожалений, я никого не принимал, подолгу спал и бродил по окрестностям, покуда однажды...

Крупный змей с массивной треугольной головой не напугал меня своим неожиданным появлением. Едва статное его тело, повторив изгиб берега пруда, полностью утвердилось на нём, я был сражён и размерами, и самоуверенностью незваного гостя. Невзирая на мои притоптывания и пришепётывания, змей не уделил мне довольно внимания. Так только, взглянул равнодушно, и не откладывая дела в долгий ящик, с неописуемым удовольствием принялся бесшумно хлебать горячую, согретую солнцем воду с тёплого листа кувшинки, словно бы из блюда. Было похоже, что он чаёвничает, но, сберегая цвет лица, пьёт один кипяток. Повторюсь, я был обескуражен, даже повержен его бесцеремонностью. Вероятно, змей знал обо мне нечто, что позволило ему не опасаться моего присутствия. Либо он не видел во мне человека¹, либо определённо угадывал его во мне².

¹ с присущими недостатками, опасного

² имеется в виду человечность

Отпив от пруда ровно столько, сколь было необходимо для утоления жажды и так долго, как требовало того чувство собственного достоинства, змей, до боли знакомым жестом потянулся, чуть задрвав голову кверху, и... исчез, словно бы его и не было никогда.

Но ведь он был... был ...был!

Эта встреча вернула меня к себе. С новой силой я принялся за старое, совершая то, чем восхищалась моя милая тётушка и за что порицали иные.

Так в омут каких пороков я окунулся с головой, и чем же был занят по всякую минуту?! Да жизнью, жизнью, помилуйте, чем же, чем ещё?!

А ЧТОБ БЫЛО ТОГДА...

Ночная бабочка, спасённая мной накануне из воды, лежала теперь совершенно похожая на созревшее крылатое семя клёна. Ещё вчера, отдавшись на волю судьбы, она уже была готова опуститься на дно пруда, но ощутив одно лишь моё желание помочь, вострепелась и охотно ухватилась за протянутую руку.

Мгновение перед тем, когда она совсем почти простилась с этим светом, а безразличие к себе вовсе сравнялась с небытием, коему не стоило ни единого усилия, дабы поглотить её всю, без остатка, нечто вмешалось в естественный ход событий... и я услышал последнее биение мягких от воды крыльев о воду. Неслышное вовсе уху, оно колоколом взывало к моей душе. Часто неловкий, в те мгновения я отметил усилие, которое сделало над собой время, дабы дать мне случай успеть прийти на помощь.

Сияя влажными глазами из-за слёз о перенесённом ужасе, бабочка сгоняла с лица капли уныния и кланялась без счёта, спеша поблагодарить до того, как немощь овладеет ею и сознание покинет измученное предвкушением близкой гибели тело.

– Ну, ты! – Подбадривал я, одобряя первый шаг бабочки с руки на траву. – Ступай-ка себе, обсохни, согрейся. Эх, тебя развезло...

Демонстрируя охоту к послушанию, считая себя в известной мере обязанной подчиниться, а заодно выражая душевный трепет мельтешением крыл, бабочка шагнула в траву, где и пробыла там до самого вечера. Мне точно известно про то, ибо нельзя, проявив заботу единожды, остановиться на середине пути, и не повторить того же ещё и ещё. Но ночь... Ночью я спал! Безмятежно, умиротворённо и безопасно.

Наутро, первым делом я отправился проведать бабочку, и обнаружил её на прежнем месте бездыханной, похожей на осеннюю крылатку семени клёна.

И теперь меня мучает вопрос. А ежели б я не спас её тогда... был бы в том прок? Ведь исключительно по моей вине, бабочка дважды перенесла все тяготы страха и тревоги угасания. Впрочем, если я верно расслышал её зов, бабочка хотела-таки выбраться из ледяной купели, и держалась за жизнь, как то пламя, которое пытается задуть ветер, а оно всё не гаснет никак...

Главное

С раннего утра шмель вяло, но настойчиво постукивал по стеклу:

– Откр-рой... откр-рой... откр-рой...

– Зачем тебе сюда? – Изумлялся я. – У тебя там, снаружи, так красиво! А тут – пыльно и темно, словно у меня на сердце.

– Но отчего!? – Удивился шмель.

– Да... уж потому что! – Отмахнулся я, но шмель... Он бы не был собой, коли б не умел угадать искренности нежелания. Дело-то он имел не с кем-нибудь, но с цветами, а они – те ещё: и притворщики, и кокетки. То сожмут губки в куриную гузку, то сидят, распахнувши реснички лепестков, радуются каждому встречному-поперечному.

– Ну, так и что там у тебя произошло? – Подбодрил меня шмель. – Поведай, а я уж никому не скажу. Либо, напротив, попрошу, ветра, так тот...

– Нет, вот только этого не надо, пожалуйста! Растреплет всем, рад не будешь.

– Ну, нет, и не надо, как пожелаешь. Так что там у тебя стряслось? Жалуйся!

Облокотившись о подоконник со всей основательностью,

на которую только был способен, шмель приготовился слушать, а я послушно принялся загибать пальцы:

– Намедни выпорхнул из-под ног птенец, – это раз. Второе – какой-то чёрный жук потерял своё правое надкрылье, и его крыло торчало смятой юбкой на самом виду, беспомощно, бесповоротно свидетельствуя, о том, что дни... да что дни! – часы, минуты жизни жука сочтены. А на третье, – мне встретился ещё и майский жук, что лежал неподалёку бездыханный...

Шмель молча глядел на меня и я, воодушевлённый его вниманием, продолжил:

– Понимаешь, я шёл, и солнце было милым спросонья, и день обещал быть радостным, почти что бесконечным, но тут, под ногами в пыли дороги – среди многочисленных подножек её камней, обнаружилось последнее пристанище майского жука. Лёжа на боку, он как бы дремал мирно, вспоминая недели своей счастливой жизни. Его сон казался спокойным и глубоким, но безнадежным до того, что не нашлось бы никаких сил, ничьих надежд пробудить в нём желание чертить своим полётом по прозрачной кальке неба летних вечеров.

Шмель вздохнул, озадаченно пошевелил усами и поинтересовался:

– Жуки – согласен, оно всё понятно, то, что ты сказал про них, я и сам вроде бы как насекомое. Но птенец! Он выпорхнул у тебя из-под ног, так и что ж с того?!

Я внимательнее присмотрелся к шмелю. Упрекать его в неспособности понять меня, было бы весьма невежливо, тем паче, он оказался единственным, готовым выслушать, не перебивая. Посему, я решился на объяснение:

– Птицы, ровно как и все другие, не могут, не должны меня опасаться!

– Ты полагаешь? – Усмехнулся шмель.

– Я уверен! – Несколько высокомерно ответил я, и вдруг, как бы ни с того, ни с сего, сам себе показался смешон. – Действительно... – Сконфуженный, протянул я, и улыбнулся шмелю.

– Ну, ничего. – Подбодрил меня он. – Тех, кто знаком с тобою, не испугает звук твоих шагов. А птенец... Подумаешь, он же ещё ребёнок, и у него будет время понять, кто есть кто на этой земле. Главное – не отбить у него охоту искать смысл во всём, что его окружает, ведь именно под бесконечным ручьём дороги жизни погребены надежды тех, кто ступал на неё, полный радостного предвкушения невероятных событий. Да вот только, слишком уж часто выходит так, будто бегут они по той дороге от себя, не ведая того, что всё самое заветное заключено в них самих.

Свобода

Убаюканный ночным ливнем, я проспал дольше обычного, и открыл глаза, лишь только облака истощили свои запасы пахнувшей пылью капли. Утро манило прохладой. Не переменив измятых омутом³ ночи одежд, я вышел из дому, понадеявшись на то, что некому будет пенять на моё неглиже. Впрочем, я ошибался. Уже на пороге стало понятно, что едва ли ни всякий мой шаг окажется причиной если не трагедии, то несообразного с обстоятельствами беспокойства тому, кто слабее нас, людей. Всяко, не по своей воле, но по малопонятному замыслу жизненного устройства, где исповедующий добро беззащитен, осиянный им – смешон, а взыскующий его слывёт чудачком или вовсе пустым и никчёмным.

Однако ж, я слишком долго задержался на пороге, но... было ли куда ступить, в самом-то деле?

Перво-наперво, по тёмным от пряной летней сырости тропинкам фланировали туда-сюда улитки. Турниор раковин, приподнимал их платья цвета карамели и миндаля, длинные подолы волочились по песку, а нежная кожа лоснилась и сияла, вызывая отчётливое желание тронуть её. Лишь опасение оскорбить робость, останавливало совершить это, но улитки

³ водоворот

воистину были обворожительны!

Слизни, недалняя их родня, сбросив последние покровы стыдливости⁴, находились тут же. Их очевидное чистосердечие откровенно пугало своею незащищённостью, правдоподобием, коего избегает всяк, даже в иной редкий час, когда дело того не стоит, но, скорее, наоборот.

Ужи, уже готовые в который раз переодеться, кружились неподалёку. Они не таясь подходили к воде, где пили с неприкрытой жадностью, либо, что скорее, – хвастая возможностью предстать вскоре в обновлённом виде.

Ещё несколько потоптавшись на пороге, я осмотрелся и рассудил, что отыскал наконец место, в направлении которого можно-таки идти, никого не потревожив. И почти сразу, первым же шагом едва не раздавил жука! Тот приземлился за мгновения до того, как я выбрал, куда поставить ногу.

Нимало рассерженный, но порядком раздосадованный, я воскликнул:

– А я?! Как же я? Где гулять мне самому?!

– Чудак-человек, – раздалось мне в ответ. – Так ты только попроси, и станешь любым из тех, чьей свободе позавидовал

⁴ раковина слизней рудиментарна и, – или погружена в толщу мантии, либо вовсе отсутствует

ТОЛЬКО ЧТО.

Как ни покажется то странным, но я вернулся в дом вполне удовлетворённым, где, смирившись со своим, отличным от прочих положением, присел у окна и уже оттуда с любопытством наблюдал богатство жизни, ради покоя которого, так могло представиться, я сильно обеднил свою собственную.

Но... я без помех мог быть где угодно, оставаясь самим собой, тогда, как все они... Имел ли я право роптать? То-то и оно...

Земля...

Мягкая и тёплая, взбитая грозой перина земли. Идёшь по ней, как по опаре, и улыбаешься, словно навстречу горячему хлебу из печи или любимому человеку, приближение коего угадываешь заранее. Загодя!

Пружинит земля, дышит, помогая каждому шагу.

Примятая трава у дороги – то неприбранная постель косули или кабана. Заспались, видать, в такой-то неге!

Паутина, вышитая на пяльцах травы, давно готова. Поглядывая на неё со стороны, улыбается паук, любителю на свою работу, но без дела-таки не сидит, – наматывает моток шёлковой пряжи на растопыренные пальцы травы. Та нынче тоже добра, и, коли надо помочь, – подсобит.

Молоденькие, почти игрушечные берёзки трепещут листвою. Похоже машут крыльями маленькие воробушки, подражая цыганскому танцу. И те, и другие далеко не бездельники, да надо уметь понять, чем озабочены они в каждую минуту.

Солнце тоже занято рукоделием. Обшивая золотыми нитями крупного плетения полотно сосняка, перелицовывает его, делая нежнее, скрадывая колкость, да поучает заодно:

– Не наживай себе врагов, будь умнее, мягче...
Да где там! Кому оно не дано...

Неряшливая плешь пригорка, даже она немного не похожа на себя после грозы. Зачёсанные наперёд редкие локоны травы, изрытые оспинами высохших капель щёки... Он старался, как мог, дабы выглядеть прилично, хотя теперь!

...Цапля, выставив вперёд ноги, уже который раз кружила над лесом, выглядывая знакомое ей с детства, родное болото, но не узнавала места. Залитые водой низины сбивали с толку. И неподалёку, рядом совсем, не обращая внимания ни на кого, играл крылами ястреб: то ли склонял к чему землю, то ли сам кланялся ей.

Ну, так есть из-за чего! Разве не так?!

Мозаика небес

Этот малыш был удивительно спокойным, тихим, милым, послушным ребёнком. Наученный матерью осторожности, он так неслышно играл мячиком, сплетённым отцом из пуха одуванчика и высохшей травы, что мало кто подозревал об его существовании. Когда надоедала игра, то он, осторожно выглядывая с балкона, наблюдал за теми счастливыми, которые не опасались бегать, шуметь и свистеть. Беззвучно хохоча, малыш сопереживал сверстникам, нисколько не сокрушаясь о том, что «тоже мог бы также, как они», ибо свою мать любил больше, чем себя, а та всего один раз, со слезами на глазах, умоляла его «не стать её последней потерей в жизни».

Не объясняя себе никак эту просьбу, малыш терпеливо сносил: и заточение, и одиночество, порешив, что его лёгкая на подъём, весёлая мама, не станет тревожиться зазря, и если уж говорит, то стоит прислушаться и делать, а не перечить.

Малыш только-только оброс серым пухом, и встречал прилёт родителей широкой улыбкой в золотой, солнечной оправе. Он видел, как тяжело приходится маме и папе. Что-бы ему не сидеть голодным, они сбивались с крыл, добывая комаров, да мошек. Им было, ох, как непросто, ведь другим

помогали старшие дети, а у нашего малыша не было ни братьев, ни сестёр. Дворовый кот, заслышав однажды их шумную возню, нашёл способ взобраться повыше, и выкрал из гнезда всех пятерых.

– И теперь, все они на небесах... – Тихонько плакала мама, укутывая своего последыша⁵. – Спи, мой родной.

Малыш, чтобы не расстраивать маму, послушно делала вид, что спит, а родители долго ещё сидели, обнявшись.

– Быть может, следующей весной всё получится, и все наши дети будут с нами⁶? – Спрашивал ласточку супруг.

– Я уже немолода. Четыре года – не шутки. – Со вздохом отвечала она.

– Да, и к тому же, – надо ещё дожить. – Соглашался он.

Светлое ночное небо, составленное из пазлов облаков, глядело на птиц не то, чтобы великодушно, но с изрядно долей здравого смысла. Ибо, – мало кто подходил к мозаике небес более их. Кому-то недостаёт совести, кому-то добросердечия, кому-то ясности ума. А вот, которого из того не хватало ласточкам, оно никак не могло взять в толк. Ведь, казалось, – всё при них. Буквально всё.

⁵ тот, кто родился в семье последним

⁶ у ласточек два выводка птенцов: в июне, и в сентябре

ЖИЗНЬ

Серебрянкой покрыты травинки, листочки... даже самый колосок травы, каждое его зёрнышко словно бы сделано из жемчуга. Чудится, будто потрудился над ним морской мякиш⁷, да оставил. И без того забот – полон рот. А почто они, те заботы? Неужто в них одних весь удел?..

Поляна клевера цвета бордо – траурным покрывалом, от дороги до леса, от жизненного пути до препон, что выросли по краям кустами густо, не давая возможности сойти.

Теперь лишь вперёд, в колее обречённости, которую осознаёшь слишком поздно, а до того, теряешь впустую всё: время, друзей, родных, себя, саму жизнь. Про неё, даже устремляясь по её же течению, не успеваешь понять ничего. Ну – холодно, ну – страшно, ну – одиноко... А как с этим со всем быть, не разумеет никто.

Впрочем, некоторые, набравшись важности, берутся-таки объяснить, и те, в ком решимости куда как меньше, хватаются за эти самые толкования, и вздыхают, наконец, свободно.

⁷ МОЛЛЮСК

Серебрянкой покрыты травинки, листочки... То накапало краски с оградок погоста. От кого они там? Для чего? Пустое всё. Тщетно, да суетно, кроме того самого колоска травы с жемчужными зёрнышками и перламутровым следом на них, – единственным напоминании об улитке, что склевал дрозд поутру.

Надо спросить ужа...

– Прости пожалуйста, я быстро. Ты лежи-лежи. Только вот тут обойду, сбоку, не потревожу. Грейся себе спокойно, лета и так мало чересчур, а тут ещё я...

Уж снисходительно выслушивал мои причитания. Кому, как не ему, был знаком мой тон со знаком вопроса в конце каждой фразы, вместо восклицания:

– Ну, правда ведь? Правда? Ты не обидишься?

Коли бы он даже и хотел вставить словечко-другое, то б не смог. Конфуз подгонял мои речи, разум сидел на облучке, опустив вожжи, и лишь вздевал удивлённо брови всякий раз, как я высказывал очередную нелепицу:

– Ты, если что, всегда можешь перезимовать у нас...

Уж поднимал тяжёлую голову с камня и качал головой.

– Ну, а почему нет? Ведь было ж уже! Никто тебя не тревожил, спал себе и спал в одной банке с мухой.

Уж кивнул согласно, ибо хорошо помнил ту зиму, когда изо всех однолеток округи единственным остался в живых. Мороз ошибся, приоткрыл дверь сентября, и застал кого где: на лесной тропинке, в углублении пня, в дупле, но насмерть продрогли все. Его же самого просто чудом успели спасти и

отогрели, а зиму уж провёл в подвале дома, где сквозь сон было хорошо слышно, какова она, жизнь людей. Выходило, что та мало чем отличалась от его, змеиной жизни. Люди, они точно такие же: и любят до смерти, и ненавидят.

– Ну, так что? Придёшь зимовать? – Спросил я ужа в который раз. И он, только чтобы мне отстать, бросил многообещающее «Посмотрим», которое, в самом деле, могло означать что угодно, кроме того, на что рассчитывал я.

Порешив, что до холодов уж ещё сто раз может передумать, я поднял голову вверх, и шумно принялся восхищаться пышной красе облаков, шурясь от их белизны. Само же солнце виделось мне точно таким, каким его рисуют дети, и которым столетия назад его чертили угольками из костра на камнях, – с мелкими, покатыми, как у часового механизма, зубцами, да длинными, прогибающимися под своей тяжестью лучами стрелок, что цепляются за циферблат земли и фигурки на ней.

А вот подумалось мне, а что если солнце и есть тот самый главный механизм времени, времён? Всё ж может быть? Надо спросить ужа. Уж, он-то знает наверняка.

По-птичьи

Жалилась мне наемни соловыха-мать об утратившем разум дитяти. Не хочет, мол, песен петь, да разучивать, хочет ласточкой быть, али дроздом.

– А ежели дятлом, либо филином?

– Нет, дюже морозов боится. Говорит, – кем угодно способен быть, кроме, как соловьём, не вижу себя похожим на мать с отцом. Нет мочи песни петь, обрыдло.

– В люди, – шепчет он слёзно, – не выйти, по причине невзрачного вида. Лицом со статью не вышел, а за спиною леса голосить, – то больно обидно. Ты, значит, надрываешься, горло полудой кроешь⁸, дабы на дольше хватило, а тебя при встрече и не узнает никто. Так, скажут, пролетала тут птичка какА маленька, сЕренька, кто она, из каких мест, чьих кровей – не знаем, а вот за лесом, там точно соловей живёт, песни поёт. Ну, и зачем мне такая-то жизнь? Из заслуженных подвигов, ни один до меня не дойдёт. Только слухи да толки, молва да домыслы.

– Вот уж, право, насмешил! И в чём обида?! Слухом-то, говорят, земля полнится...

⁸ лужение – покрытие олова со свинцом

– ...а причудами свет! – Перечит он, и добавляет про лесного клопа. Гарцует он, видишь ли, верхом на травинке, да и то весу больше имеет, чем соловей. Коли кто хватит его, клопа, не забудет вовек, ещё детям-внукам своим расскажет, – каков на вид, и славен чем!

– Так дурно пахнет та слава-то, весьма!

– А уж это ему неважно!

Упорхнула соловьяха, с глаз моих от стыда подальше, да только вот слова сказанного, сколь не тщишь, не утаишь.

– Слово – не воробей?!

– Вот-вот, всё у нас по-птичьи⁹, не как у других.

⁹ на непонятном для непосвященных языке

О надежде и любви

Рассвет наскоро латал плотный занавес ночи, штопая одну прореху звезды за другой. Из-под двери утра, высохшей на корню травой пробивался дневной свет... Впрочем, про это, кажется, было уже много писано, да говорено, как и про всё, что случалось прежде или произойдёт потом.

К примеру, ветер и встарь часто гадал на ромашках, обрывая лепестки, так что вдругорядь предсказывал себе бурю заместо любви. И та не преминула бы воспользоваться сим пророчеством, дабы непременно явиться, коли б не была по всё время чем-нибудь занята.

Паук в любую ночь всякого века плетёт корзины, иль гамаки, дабы после раскинуться в них, покачиваясь и нежась в потоках солнечного ручья. Паутина обыкновенно сияет так, что кажется сделанной из хрусталя. Ветер неизменно роняет её от неловкости, надрывая с одного края. И из корзины выходит нечто вроде приспущенного паруса.

Пауку-то оно всё равно, так и так каждый раз стараться. И, махнув рукой, отыскивает он удобное местечко промежду сосновых веток, да принимается за новую паутину.

А тут недавно, видел собственными глазами... Птенец ласточки дремал, перевесившись через перила гнезда, как это делали до него многие птенцы. Вместе с братьями, родители совсем недавно вызволили его из заточения скорлупы. Птенцы так быстро росли, отчего безотчётно теснили друг друга к краю, в надежде, что кто-то выпадет из гнезда и им станет просторнее.

Судя по всему, он был слишком добр и наивен, тот, обративший на себя внимание птенец, и искренне верил в то, что братья на самом деле любят его. Как же иначе? Ведь не чужие друг другу... Но покуда не сложилось промеж них, до поры, завёл он себе приятеля – жёлтую бабочку, ржавые крылышки. Бабочка мельче мелкой, всего на один глоток, на тот самый, что стоит меж дружбой и враждой. Всякий раз, когда птенец засыпал, бабочка хлопотала над птенцом, будила его, обмахивая серые щёки, слёзно просила повременить со сном, обождать, покуда окрепнет и сможет летать.

Бывало ли оно также, в прежнее время, либо нет? Хочется не то что верить, но верно знать про это. А ещё и про то, – глядели ли люди, след которых простыл давно, на бледное утреннее небо, обнимая за шею своих собак, и шептали ли им на ухо слова, которые обычно собакам не говорят?

Каких слов? А вам-то оно на что?! Те слова одни и те же на

все века. О любви-с, о надежде встретить вместе очередной
рассвет, и увидеть вновь, как латает он, занавес ночи, штопая
одну прореху звезды за другой...

Обычное

Ветер играл на клавиатуре леса свою негромкую мелодию. Перебирая разноцветные клавиши то ускорял, то замедлял темп. Занимался он прилежно, как и положено, по три часа в день, никак не меньше. Уж, из уважения к его усердию, долго прислушивался, раскачивая головой в такт. а после, чтобы не помешать ничем, на цыпочках прошествовал мимо по своим змеиным делам.

Бабочку, скромницу, что порывалась присесть на руку ветра, да так и не решилась, он сам ухватил за краешек крыла, да как принялся обмахиваться ею, словно белым платочком. Сыплются с неё жемчужные крошки, как пудра со щёк. В другой раз после такой встряски и не захочется стоять у служебного входа, в ожидании, покуда выйдет предмет её восхищения, спрятав нос в воротник...

Мытыми комьями хлопка сушатся в поднебесье облака, но серая, пыльная их тень бежит над дорогой, и суровеет та, темнеет от натуги. Кажется – небыстро оно всё, а попробуй за ней поспеть.

Но тот же ветер, что, розовея от волнения, мгновения назад трогал прохладной щекой листву, и, склонив голову, при-

слушивался к каждому звуку, дабы оказался непременно верен... ни с того, ни с сего – швырнул песком в глаза белому дню. За что? Зачем?

Нервен он слишком, как говорят. Не в ладах с собой, а, значит, и с другими может быть нехорош.

Абрис леса на фоне заката рядится горой.

Вот точно так и ветер, и мы... рядимся не теми, кто мы есть в самом деле.

Мы учимся...

Мы учимся у природы нежности, мы учимся у неё жестокости.

Намечен пунктиром колосок травы. Он будто бы парит в воздухе, и неясно, на чём держится его душа. Клонит колосок свою буйную, пуховую ещё головку навстречу ветру, присматриваясь к его порывам, ищет в них причину, и, недалеко, неглубоко в себе отыскивая сострадание им, кивает согласо:

– Понимаю... жалею... люблю...

– Да быть такого не может!!! – Негодует ветер, намекая на возможное лукавство. Но взглядевшись в хрупкие, заметные едва черты, тушуетя вслед, – где ему тягаться с видной со всех сторон откровенностью...

На самом виду, в колее дороги, подставив солнцу горчичного цвета грудку и плотно прижав к бокам крылья, лежит лесная канарейка. Ровно, гордо стоит, в линию со всеми, чьё сердце перестало биться задолго или недавно перед тем, как сделало последний удар её собственное.

– Ишь... загодилось¹⁰ ей уйти, – Вздыхает грустно старушка, прибирая птицу, дабы схоронить.

Семь кошек у неё, негоже наущать их дурному. Оно, вон темышь, коли словят когда не в дому, и ту жаль, а уж птаху... Ведь не учась, не умея как бы, бывает, так споют, вровень с горем, что прольётся оно слезами, – гладишь, и полегче, да заметнее сразу: и умытое поутру небушко, и пряный от мяты, и настоенный на медовых травах воздух. Благодарить после за жизнь, за науку...

– Кого это? Мать с отцом?

– Да всех!

Мы учимся у природы нежности, и жестокости учимся тоже у неё...

¹⁰ спешно занадобиться

Повадки людей

- О! А ты чего тут... так? Ждёшь кого?
- Не мешай! Иди! Спугнёшь!
- Кого?
- Да муху же! Му-ху!

Крупный, статный уж с тяжёлой головой и выцветшим почти добела, некогда оранжевым отложным воротником, сидел на раскалённых камнях порога, лицом ко входу и, не обращая внимания на проходящих мимо людей, караулил мух. Те присаживались на горячую стену, как на набережную, дабы обдуло их ветерком, ибо негоже соваться в воду, не поостыв немного прежде, чем окунуться. Предусмотрительно позабытая ночной грозой лужа манила к себе двукрылых всех размеров и мастей. Потому-то змей и порешил не теряться, а потратить с пользой недолгий срок, за который солнце опустошит эту чашу до дна.

- Слушай, ты поосторожнее! Не ровён час, наступит кто, или вовсе обознаются, – почудится им, что ты гад какой, а не ужак, да стукнут палкой.
- Не подумают! – Мотнул головой уж.
- Чего это? – Удивился я.
- Привыкли уже к ужу! – В рифму ответил тот.

Он был серым, почти седым от того, что долго пролежал на жаре. Я хотел было зачерпнуть воды и облить его, дабы не случилось солнечного ожога, но не стал. Не так был прост этот ужак, не так глуп. Он подставлял свое пологое тело солнцу не один год, и, кроме того, прекрасно изучил повадки людей и хорошо разбирался в характере животных. Вследствие того, он проявлял некоторую суетливость лишь в присутствии хмельного люда и котов. И те, и другие имели промеж собой некоторое сходство, – жёлтые, горящие недомыслием глаза, устремлённость вперёд, что, вкупе с шаткостью походки, лишали возможности предвосхитить их поступки.

Покуда я раздумывал, да восторгался мудростью змея, тот незаметно утёк в свою нору под порогом. Оглядевшись по сторонам, я рассмотрел вдали приближающегося неровной походкой соседа, и тоже счёл за лучшее удалиться восвояси. Ибо я, конечно, не уж, но таким, как известно, лучше не попадаться на пути. Человек ли, змея пред ними – не увидят разницы. Впрочем, иногда и не угадать, кто есть кто.

Круговорот

Паук в элегантной полосатой пижамке сороковых послевоенных годов дремал под сенью склонённой над ним травинки. Ему некуда было спешить. На связанную при свете ночника луны наверняка найдутся охотники. Ну, и как только первый покупатель скажет «своё слово», тут-то и он выскажет своё, – веское и последнее кое для кого. А покуда можно отдать почести Морфею или Дрёме, – это уж кому будет угодно их приять.

Плавунец отставил едва не до осени зонтик личинки. Приклонённый не на виду, к потной от росы доске забора, он незаметен почти никому. При удаче, его не тронут до следующего года, а если и отломают, да закинут подальше, за заросли крапивы, от того не приключится беды, лишь бы не сгоряча, да не в огонь печи.

Птенцам ласточки велики их крылья, бьют по затылку, цепляются друг за дружку, мешаются... надоели, пуще горькой редьки. Эх, знали бы неразумные ещё птички, что пройдёт совсем немного времени, и именно эта помеха станет им верной опорой, подспорьем в труде, как в бою. Ну, а покуда, из серого кармашка гнезда слышны одни лишь только капризы:

– Зачем мне э т о?! Ни повернуться, ни встать, ни сесть. Вот оторвать бы их, да выкинуть вниз, ко всему прочему нашему сору. Всё было бы удобнее, перемежая отдохновение между застольем, когда, по приказу родителей, приходится как можно шире открывать рот и говорить «А-а-а!»»

И потом... отчего это в меню всё время комары да мошки?! Когда же подадут что-то другое? Плавунец жестковат, а вот паук – в самый раз. Тот самый, что дремлет под травинкой, в полосатой пижамке, фасона сороковых послевоенных годов...

То было поутру...

Кроны берёз встряхивают влажными, нечёсанными ещё кудрями. Чистым, незамутнённым, серебряным зеркалом смотрится всякий берёзовый ствол, а солнце улыбается в него себе самому.

То было поутру...

Замершей навечно, уставшей от жизни змейкой, малым сучком пал на дорогу локон сосны. Перестарался он в своём лицедействе, слишком много взял на себя и чересчур вжился в чужую роль, откровенно сыграл её, не свою. Рос бы себе и рос, раскачивался, по велению ветра, вверх-вниз, и был бы себе здоров на долгие годы. А так...

Сучок сделался похож на обломок старого пересушенного в русской печи бублика, который никому уж не сгрызть. Сухим – обломаешь последний зуб, а размочить его – станет на вид как бы уже съеденным.

Повсюду же, комками холодной манной каши, – клевер. Дню, покуда тот ещё мал, как любому младенцу, не угодишь, – чихает он и отказывается кушать то, что дают. Просит, сам не зная чего, но послаже, да пожиже, и чтобы не так липко, как часто бывало перед тем...

Рассвет серебрил сосняк со тщанием, не пропуская ни единой, самой кроткой иголки. Даже для вовсе лишённых листьев, тонких, кудрявых уже нижних веток сосны, и для них он не жалел драгоценного убранства. И так сияли они, что комары бились лбами об них от изумления, а те смеялись беззвучно, до дрожи.

С лесными полянами рассвет обходился иначе. Тут уж он не жалел злата: ни червонного, ни тонких полупрозрачных жёлтых листов патины.

Повсюду лежали, специально приготовленные пауком, вдетые в иголки нитки шёлка, дабы после, при луне, не колоть себе пальцев до голубой крови, а плести с приятным сердцу усердием, да тоненько, мимо нот, подпевая комару.

Грозди хрупких лесных колокольчиков, залитых белой эмалью солнца, казались куда как краше иной ювелирной броши, но при том же утреннем свете стали видны и просыпанные из сундука, либо особой жестянки, перетёртые ходьбой или же частью сдавленные жеванием бомбошки, да резные пуговицы сосновых шишек. Из тех, что остались целыми, по ажурному их великолепию, могли сравняться лишь с причудливой строгостью нагромождения грозных облаков, что завораживают и пугают, в одно время.

Срубленное верным топором времени, ржавая, как бы ржавая сосна, очертив дальний путь поперёк, невольно при-
нуждала погодить, возвратиться и прочесть со вниманием
кудрявую вязь почерка пернатых на песке дороги. Верный
их слог на зыбкой почве, верно, стоит того. А коли не пере-
чтёшь, так – до первого путника, что затопчет, волоча ноги
сустатку, а не по злобе, и не узнать никому тогда, – про что
страдали те птицы, по ком.

Взбитая солнечным светом перина поляны... Каждый её
колосок, как пёрышко или пушинка, что не поранит ще-
ки через редкое переплетение наперника, но лишь погладит
нежно, вызывая спать подольше, дабы после, с новыми сила-
ми, да за добрые дела.

То было поутру...

Болтовня

С ним мы были знакомы давно, и обычно встречались поутру, когда я прогуливался со своею собакой. Признаться, он заметно сторонился непоседливого, добродушного пса, но явно благоволил ко мне. Едва мокрый нос моего четвероногого друга касался его ноги, он замирал от страха и втягивал голову в плечи.

Не желая портить сложившихся отношений, я, после того, как отводил собаку домой, возвращался к товарищу один, и мы предавались долгой, неторопливой беседе. О том, поприятельски приятном, необязательном, что не притягивает к себе разногласия. К примеру, про погоду, или же сокрушались быстротечности бытия, подчас касались падения нравов, либо неуклонного обмельчания всего человечества в общем, и в частности.

Хотя, справедливости ради... будь оно всё именно так на самом деле, – и нравы, да и сам род людской давно бы ушли в левую сторону, относительно точки отсчёта. Но... отчего бы и не поговорить?! По какой причине лишать себя удовольствия понежиться на волнах совместного сопереживания в приятной компании!

Разумеется, разговор проистекал в деликатной манере,

минуя достоинства и недостатки собеседников. В приличном обществе, это негласное правило «не переходить на личности» представляет определённое и несомненное удобство. Несколько лицемерное, оно исключает возникновение межбеседующими немедленного чувства неприязни друг к другу.

Растревожив, сколь положено, обоюдную впечатлительность, отдав определённую дань негодованию и после успокоив нервы уверением в том, что погода благоприятно сказывается на самочувствии и настроении, довольные друг другом, мы расходились по своим делам до следующего рассвета.

...Уверен, что в то утро всё произошло бы примерно так же, но когда я вышел из дому, то оглядевшись по сторонам, не заметил приятеля там, где привык желать ему доброго здоровья. Вместо него, на большом плоском камне у дороги лежал прозрачный щиток его раковины, доселе сокрытый в глубине мантии. То была... его суть?.. А дрозд выплюнул её, как вишнёвую косточку.

Мы так долго смаковали чужое несовершенство, что судьбе ничего не оставалось, как предъявить нам наше.

Обыкновенно неловкий, мой пёс осторожно обнюхал то,

что оставил дрозд от слизня, и сочувственно повертел хвостом. Он-то давно приметил в гуще зелени птицу, и даже пытался дать знать об её опасной близости, но мы так были увлечены... болтовнёй ни о чём.

Журавль по небу летит...

11

Журавль летел по небу низко, почти касаясь ногами леса, не утруждая себя покорением заоблачных высот. Нежданно тяжёлый, мощный, он опирался на воздух вкусно, и с таким явным наслаждением, что... Нет-нет! Пусть слева и справа от него остаётся как можно больше свободного места! У людей на земле ещё так много дел, и стоит заниматься ими, – многим, многими, и передумать неопределённо большое число раз о своём участии в жизни других, об участии всех, зависимых от тебя, близких и далёких.

Обронённое соловьём крыло бабочки под ногами... В сердце горчит от его неожиданной ветхости, ибо он, словно листок календаря, сорванный птицей впопыхах, промеж забот, что ведут начало с того часа, когда в сугробах облаков тает снежком луна. В эдаком, сброшенном раз и навсегда многоцветном крыле – весь прошедший день, канун грядущего. Красочный, яркий, страстный, он закалён на беззвучном огне ближайшей звезды и уже навечно отпечатан в памяти иных.

¹¹ Ю. Ким, песня к к/ф «Бумбараш»

...Ёж всю ночь чем-то надрывался под окном, – топал громко, отдувался часто. В раздражении проклиная всеобщую, объяснимую по ночам безмятежность, взывал к помощи ближнего и страшился её. Плутая промеж пучков пережжённой перманентом солнца травы, ёж пугался даже собственных шагов, и оборачивая робость клубком серых колючек, шуршал ими, стучал, да скрипел. Так во сне скрежещут молочными зубами дети, коли в их жизни происходит нечто, с чем справиться им никогда не дано.

Журавль летел по небу, низко-низко над лесом. Он торопился размять крылья, покуда дневной зной не разгонит всех по домам. Ведь и холод, и жару, куда как лучше переживать под сенью родных стен, чем где-либо ещё.

Врану – враново...

Неким ранним, израненным об острые лезвия солнечных лучей утром, забившись в закут между давно необитаемым насестом и ссохшимися до перламутрового блеска поленьями осины, тихо рыдал ветер. Размазывая облака по небу, как слёзы по щекам, он часто и безутешно всхлипывал, так что всякому, до чьего уха доносились эти звуки, становилось его безмерно жаль.

Первым встрял не в своё дело филин, и начал было успокаивать ветер, агукая ему так, как умел он один. Да тот, расстроенный донельзя, всё не унимался никак.

Следом – старая вишня взялась бросать ветру под ноги золото мелких листов, в надежде, что он, как это случается на свадьбах с ребятишками, которые побойчее, примется подбирать монеты и позабудет о причине своего расстройтва. Но когда и такое не помогло, сосны, которым дело до всего, встряхнули монистом из шишек, следом – синица, невзирая на жару, оставила на потом прохладу чащи, дабы насвистать ветру нечто бравурное, а он, тем не менее, по прежнему сидел в тени и грустил.

Косули гремели у него над ухом погремушками, приспособ-

собив под это дело полые пни. Дятел задавал им ритм, и хотя ему не было теперь нужды возиться со своим привычным рукоделием, ради ветра он расстарался, и постукивал то часто, то редко, с оттяжкой, как это делается, когда шлёпают по натянутой, отзывчивой, вечно настороже шкуре упругих, гладких ланит барабана.

Даже солнце, занятое по обыкновению лишь собой, затеяло с ветром игру, и пряталось за стволы, переменяя их так, чтобы нельзя было угадать сразу, откуда окликает его.

Казалось, все усилия напрасны. Сникший ни с чего ветер оставил после себя пустоту, и с этим никто не был готов смириться.

Выручил вечер. Едва он осыпал влажные простыни ночи, как лепестками роз, крыльями полных бабочек, разряженных в бархат и парчу, немедля истощился запас тревог ветра, да возвернулись тотчас к нему: и былая игривость, и обыкновенная для него привычка – ветренность.

Дурно ли то, либо нет, не сразу, но понемногу, всяк стал, как и перед тем, – сам по себе. Вишня с листвой, сосна с шишками, филин в своём дупле, а синица в своём.

Блеснули клювами и вороны на вечерней заре. Грубовато

играя в салочки, кружили они над головой. Им – что ведро, что дождь, как из ведра, что ветер аль безветрица. Живут себе в стороне от общей печали, не жертвуют никому своего сострадания, да зато и сами не просят ласки ни от кого.

Плохо то или хорошо, вовсе или не очень, нам неведомо, да толковать про это лишь тому, кто дудел в дуду, да стучал в барабан, а не отсиживался, да отлёживался, поджидаячи, покуда дело сделается само.

Первый полёт

Вечер промокнул облаком кляксу луны и наступило утро. В стремлении отхватить от пирога дня лучший его кусок – свежий, не слишком горячий, с пряным ароматом мяты и вязким – полыни, я поторопился покинуть измученные тревожными раздумьями покои¹² и вышел на веранду.

Там, на полу, прямо под лукошком гнезда ласточек, я приметил полный личинок ломтик сот шершня. То было торжественное подношение от родителей детям, ко дню их первого вылета из гнезда, чрезвычайно похожее на праздничную коробку конфет.

Несмотря на то, что подросших птенцов откровенно готовили на роль нянек младшим, тем, которые должны были увидеть свет ближе к осени, о малышах заботились, их любили и... ведь неведомо, как оно сложится, но эти дети, родная кровь, были уже почти что готовыми, крепкими птицами, которые, в случае чего, продолжают начатое их пращурами.

Я стоял и не мог оторвать от взора от ладных, ясноглазых, лукавых, птенцов, уже вовсе, совершенно похожих и на

¹² жилая часть дома

настоящих ласточек, и на роскошный букет в плетёной из глины вазе под потолком. Широкие плечи птиц с крепкими на вид крыльями выступали над кромкой гнезда. Казалось невероятным, что в таком маленьком кармашке вмещается столько всего, но, покуда узкие, породистые талии ласточек находили себе там место, это позволяло им ещё немного побыть детьми.

Признаюсь, я мог бы глазеть на птичек долго, ну – почти бесконечно, благо, их отец и мать, что сидели на перилах у порога, не проявляли никакого беспокойства, а сопереживая моему восхищению, гордились потомством, как собой. Но вдруг... родители ласточек пропели дуэтом нечто, напоминающее шуршание вспышки пламени серной спички, после чего малышня немедленно и неожиданно для себя самих выпорхнула из гнезда. Иное легато нотного стана могло б позавидовать плавности очертания их полёта. Последний, самый маленький птенчик, замешкался немного, но я поспешил помочь ему, указав направление рукой.

Если бы кто со стороны увидел, как, покидая уют слеplенного изо всякого сора гнезда одна за другой, ласточки вылетают на простор, то мог бы подумать, что перед ним выдававшие виды, умудрённые опытом птицы, так ловко управлялись они. Мне же казалось, что небо перенимает подросших птенцов из горсти гнезда, бережно укладывая в свою колы-

бель.

...Где-то неподалёку в лесу, ветер валил деревья, и они заканчивали свою жизнь с молодецким уханьем, в щепки разбивая сердце о землю. А тут, прямо на моих глазах начиналась новая, полная трудного птичьего счастья жизнь, в которой главной была не свобода сама по себе, но уверенность в том, что всегда отыщется тот, кто разделит с тобой восторг первого полёта. Даже если этот кто-то – человек...

Вечер промокнул облаком кляксу луны и наступило утро.

Без названия

В половине четвёртого утра я проснулся от того, что услышал, как мой визави неаккуратно, быть может даже с раздражением поставил недопитый стакан с чаем на стол, так что зазвенела ложка. Покуда я стряхивал с себя остатки сна, словно луковую шелуху и приходил в себя, оказалось, что память не сохранила ничего о том, – кто был мой собеседник, и отчего рассердился.

Испытывая несомненную досаду о прерванном сне, и о неумении вспомнить его обстоятельства, я почуял сладкий запах вишнёвого ветра, услышал его шум, и то, как он, негодник, кидается без счёта спелыми ягодами, словно камешками. Невольная улыбка в ответ озорнику немного успокоила меня и тут же я припомнил... Нет, не кем был тот таинственный ночной гость, но другое, что едва не разбудило меня ещё раньше, – про дождь, который слишком громко облизывал мокрым языком листву.

Пригрезилось мне всё это или нет, но коли не позабудешься во сне, измучаешь себя бессонницей, да изболит душа о не сделанном, хоть вой. А так... всякое утро в жизни навроде чистого листа, где, сжав губы больше брезгливо, чем надменно, рассвет протягивает каждому собранную в щёпоть руку, одетую голубой шёлковой перчаткой, напоминающей бутон

цикория. Некоторым, которые умеют разжалобить, он даже подаёт что-нибудь: прозрачную бусину драгоценной росы, муравья, а то даже замершего кверху перевязью лап жука. И тут уж важно дать понять ему, что ты не гаже прочих, отпустить подобру-поздорову в ближайшую траву, да подглядеть, каковую из четырёх сторон света выберет он.

– И что? Сразу за ним?

– Вот, чудак-человек! Нет, конечно! Запомнить тот путь и не ходить туда ни за что.

Утерянное счастье

Бабочка сложила крылья и упала без сил. Ей можно было бы попенять, что негоже, мол, так-то в погожий столь день, а оно вон как вышло.

Столь часто не достаёт для радости всего, чего должно хватать: ясности ума и дня, тепла волны и чистоты сердца. Кому-то нужно ещё той, не сразу осознанной малости, чтобы «все были живы», но такое счастье бывает только в детстве, про которое одно только и помнится, что оно и есть то, утерянное невзначай с ч а с т ь е, в поисках коего и проходит вся последующая жизнь.

– А что? Разве не так?!

Дорога, сходящая на нет, всего одна, всех прочих не бывает. Изгиб же всякого пути, знамение неизвестности, отделяющее скользкое «только что» от незыблемого «вчера» и не вполне отчётливого «завтра». Хотя... что там разъединять, в самом деле? Каким манером?! Коли всё – в куче, в которую не стоит валить ни дела, ни раздумья.

–Так они уж сами распоряжаются. И нами, и собой.

Погремушки коробочек мака, как мараки¹³. Куда как лучше стоять, прислушиваясь к их шепелявой на ветру рифме, чем непрестанно искать правды в себе, судьбе и прочих. Честнее.

– Чем ты занят?

– Ничем.

Ветер хрустит стволами старых деревьев, как залежалым в котомке хлебом, что пахнет сладкой звёздной пылью, с которой некогда началось всё, да каковой когда-то оно и завершится.

Бабочка сложила крылья и упала без сил. Ей можно было бы попенять, да разве же вправде мы? Даже если и правы когда...

¹³ древнейший ударно-шумовой инструмент коренных жителей Антильских островов – индейцев тайно, разновидность погремушки

Кусочек солнышка

Летняя гроза. Кому испить, кому освежиться. Хорошо, если тёплый ветерок не томит долго солнышко в зябком сумраке опочивальни, а распахнёт поскорее спрятанное за портьерой туч окошко неба. Тут уж сразу разглядишь умытую чисто траву со многими цветами, что часто моргая ресницами лепестков, скрывают слёзы счастья и залитые ими глаза.

Пчёлы, набрав полные авоськи весёлых льняных комочков пыльцы, на лету, не выпуская поклажи, спешат окунуться в перламутровую купель цикория. Да не стесняют себя одной, а погружаются в несколько, подряд, чередой, не переводя промеж ними духа. И после уже спешат домой, дабы там рассказать, – где была, кого видела, про что слыхала краем уса, да лапы. Обступят, шустрят подле подружки, с рассеянной вежливостью пропуская мимо почти всё, кроме того, что утолит желание выведать самое главное – откуда ж дух такой приятный от хозяйюшки.

Надо сказать, что та без вредности, честь по чести растолкует и расскажет, – куда лететь, где повернуть, да с каким мостком лепестка следует быть осторожнее, ибо расшатался уже, по причине сего можно оступиться, ушибив плечо о тот самый, «ну, вы знаете...», штакетник.

Кинутся пчёлы роем по указанному месту проживания тех цветов, что рачительны, да бережливы, и как начнут купаться да резвиться, – поляна аж ходуном ходит, волнами, того и гляди, сорвётся с якоря округи.

Глядя на то, смеются вишни, морщат свои носы, покрытые спелой листвой, как веснушками, и рыже-золотыми каплями солнечного света. Но не трунят¹⁴ они над пчёлами, по доброму всё, дабы разделить с ними радость, которая любая велика, даже коли мала.

И кстати, – стоит поднять с земли один такой вишенный листочек, да сунуть его в карман, – так вдруг станет тепло, едва ли не горячо, что покажется, не шутя, будто бы уносишь с собой кусочек солнышка.

Не пытались ещё? Ну, так испробуйте, чего дожидаться? Лето в наших краях, ох как коротко, а зима длинна... Ещё день-другой, и не успеть уж ничего, а другого раза может и не случится.

¹⁴ не насмеваются

Гневливо

Гневался ливень. Топтался по темечку лета с посвистом и неким чувством крайней, трудно объяснимой ярости из-за редющего тепла, что возвращает себе вновь надменную холодность в отношении ко всему вокруг. С нескрываемым презрением глядел ливень и на день, что, готовый уже сгорбиться, загодя решившийся на то, станет сутулиться всё больше, покуда вовсе не сделается низеньким, хрупким и седым.

Итак, ливень карал окрестности. Со всей мочи, от души. Разложивши их поперёк колен земли, стегал вымоченными в слезах розгами, с неприятным суровым выражением, выбирая, где окажется чувствительнее, дабы » впредь не повадно было»...

Ну и не зряшное ли он затеял дело? Перемена во всём давно уж стала привычной, обыкновенной, обыденной. Обделены мы тем, чтобы как-то по другому, иначе, да вот только не желает ум человеческий принять сие обстоятельство никак.

Наутро горячий, будто бы только из печи кулич неба, обмазанный сахарной глазурью облаков, доходил на паровой бане исходящей влажным теплом округи. Хрустальное марево дали содрогалось от воспоминаний об минувшем накануне редкой силы дожде, и смущало всякий взор, по собствен-

ной прихоти меня очертания хорошо знакомого до непонятного и неясного. Марево отдавалось вполне своему ощущению жизни, и, проникнутое им, не затруднялось рассуждениями о том, что невпору разбуженная фантазия порождает страхи, а ко времени – грёзы. Ведь, как оно было на самом деле, узнается в свой час, о котором нам и ведать-то не след. А то как залезем, да отойдутся силы на предвкушение, и вот вам – фальшь, укоры и халтура¹⁵, вместо радости.

... Ливень гневался из-за жизненного вокруг устройства. Ну, а почто сердитесь вы? Зачем тратите драгоценное время на то, если чего и дано поменять, так уж, верно, не вам.

¹⁵ поминки по умершему

Всё одно

Дождь по всю ночь занимался стиркой, и наутро небо от неровного спиля сосен до самого горизонта было покрыто мыльной стружкой облаков. Уходя, не нарочно, обмакнул дождь каждую иголочку сосны в чистую воду, из-за чего веточки засияли, как бы облитые сладким сиропом, либо свежавыгнанным летним мёдом. Да так это всё ладно, да славнo...

И чудится в неясный рассветный час, будто поросшие тысячелистником поляны густо посыпаны колотым сахаром, словно в добрую память о храбрейшем из героев, Ахиллесе. Он, как и все мальчишки, наверняка был сладкоежкой, и в тайне лакомился перетёртым кунжутом с мёдом¹⁶. Тысячелистник¹⁷ же, прозванный в его честь, хотя и горчит, да не огорчает собой, а как пользоваться его при многих хворях, знает самая последняя русская баба в деревне. Да, к тому же, от ран, омытых отваром сей полезной травы, не остаётся и следа.

Подчас, смеётся над иной бабой вОрон, глядя, как та сры-

¹⁶ ο σπασσιούς – разновидность тахинной халвы

¹⁷ Achillea millefolium L., 1753

вает корзинки белых цветов в подол, а сам после пасётся в тех же зарослях, имея в виду грядущую мочливую¹⁸ осень и бесконечную стыдь¹⁹ зимы.

Впервые вылетев из гнезда, дети вОрона оценивающе разглядывают окрестности, и капризничают заодно так, что слышно на всю округу, даже в самой дальней просеке, что у реки. Скромные в родном дому, теперь они переборчивы и вопиют ежеминутно : «Не то!», на что каждый из родителей резонно отвечает: «Не хочешь, не ешь, значит не голоден», – и проглатывает добычу подле раскрывшего рот дитяти, после чего улетает, ухмыляясь, да сверкая зловеще, отражённым в зрачках солнцем. Оставляя без себя своё потомство впервые, ворон, впрочем, неусыпно следит издали за тем, как озадаченный воронёнок принимается гулить. Выходит как-то совсем уж по-человечески: он и агукает, и стонет, и причмокивает, закусив сладкую макушку сосны. Ну, так и ничего, пусть. Так лишь и дойдёт, как оно, без мамки-то с папкой, жить, ибо, помимо них, свет солнца слишком ярок, а луна чересчур мутна.

– Стр-р-ра-а-ашно! – Вскричит в другой раз тонкошейей воронёнок.

¹⁸ сырой, ненастный

¹⁹ стужа

Повсегда отзывчивый филин хочет было встрять тут же, по своему обыкновению, с неизменной своим «агу», да вОроны не допускают помешать уроку.

Утро давно уж оставило думать про рассвет, а горизонт затаил свои устремления до поры, под промокшей насквозь дерюгой ночной мглы. Столь же туманно и будущее, рассуждать о котором, тоже, что лить воду в загодя непустое, всклень²⁰ ведро. Всё одно – намочишь ноги, как не пещись²¹...

²⁰ по край, до верху

²¹ стараться

Чёрный пёс

Вдоль железнодорожного полотна, по полосе отвода, тру-сИл чёрный пёс с белым пятном на груди. Когда тот был ещё щенком, люди говорили, что он весьма мил, а пятно напо-минает платок или галстух. С возрастом белого сделалось немного больше и стало похоже, будто из-за ворота пиджака выглядывает чистая рубашка.

Всю свою жизнь пёс трудился. Он заботился о сохран-ности хозяйского добра, к коему пёс причислял любое дви-жимое и недвижимое имущество, живность, надворные по-стройки и даже командированных, – птенцов ласточек, за которыми он присматривал, покуда те не научались летать столь же уверенно, как и их родители.

Хозяйкою пёс почитал низенькую неказистую старушку, а её супруга считал собственностью хозяйки, и потому увязы-вался за стариком, куда бы тот не шёл. Не из любви-с, но по причине чувства ответственности за его невредимость.

Известно, что век собачий слишком короток, да случает-ся так, что линия жизни того, единственного изо всего че-ловечества, которого пёс выбрал своим повелителем, обры-вается раньше. Старики ушли один за другим и пёс остал-ся... Кто-то сказал бы, что «не у дел», но сам себя он чув-

ствовал круглым сиротой. Нерастроченная его любовь была куда больше его самого, она томилась подле и искала, к кому прислониться. Привыкшему усердствовать во благо многих псу было тоскливо, хоть вой. Живность разобрали соседи, кот недолго помыкался и тоже ушёл со двора. Даже ласточки передумали вить гнездо под крышей сарая.

Однажды поутру, оглядевшись по сторонам, но не отыскав причины оставаться на привычном месте, пёс вздохнул, напился дождевой воды из своей миски и отправился в путь.

Спустя неделю, некогда совершенно чёрный пёс с седой мордой всё ещё шёл вдоль полотна железной дороги. Камни насыпи ранили сухие подушечки его лап до крови, но он шёл, не обращая на то никакого внимания. Псу нужно было непременно успеть найти человека, который согласился бы принять в подарок остаток его собачьей жизни.

Говорят, он-таки отыскал достойного, и прилёг у давно пустующей будки в его дворе. Только правда то или нет... Хотелось бы, чтобы это было так, а там... как знать, как знать...

Он умеет

Вы замечали, что дождь точен и всегда достигает намеченных им целей? Он загодя знает, кого поразит и как, но он не забияка, вовсе нет.

Дождь обыкновенно чист, музыкален, и держит ритм, чего бы это не стоило ему. Вода льет с него в тридцать три ручья, а он неумолимо неумолим. Вперив в пространство рассеянный взгляд, расположившись чуть сбоку от себя самого, в стороне, не на проходе, дабы не помешать никому, отрешённо, как бы чужими руками перебирает всё, до чего может дотянуться, чтобы не пропустить и употребить любое, из чего можно извлечь хотя какие-то звуки.

Но как-то так выходит, что под его чуткими пальцами играет всё: заборы и крыши, подоконники и стёкла, стволы деревьев и сама листва. Особенно звучит земля. По особенному! Сперва сухая и надменная чересчур, она отвергает, отводит руку дождя, а после, проникаясь тихой музыкой, втягивается в обворожительный её ритм и смягчается, а расплясь, сама уже стремиться поднять себя куда как выше, чем была.

В распоряжении дождя больше глухих звуков, звонкие не для него, те удобны многим, которые предпочитают баналь-

ности и прямолинейны не от того, что честны, но просто не умеют постичь разницы меж серым и бледно-голубым, промежуто иронией и сарказмом. Таким, коли придёт случай выбирать из страсти с любовью, выберут первое, ибо не научены видеть стоящее настоящее. Не дано.

Дождь. Редко званный, уходит, не попрощавшись, и оставляет после себя на виду вымытый из углов сор, нечистоту и много лишней, на взгляд, воды. Но как хорошо делается после того, как он уйдёт! Свежо! Во всех смыслах свежо!

Он всегда знает, чего хочет, и умеет добиться своего... какой-то там... Дождь?

Сойдя с карусели земли

- Сойдя с карусели земли, что оставляет после себя человек?
- Да, много чего. Кто как.
- Займут ли другие его внезапно опустевшее место в строю живущих?
- Наверяд. У каждого оно своё.
- Ну, а забудут ли про ушедшего?
- Увы.
- А до какой степени скоро?
- По-разному, от него зависит не всегда.

Кинулся серой мышью камень под ноги, перебежал путь. Заметил его сам и не споткнулся или под руку обвела стороной судьба, – не всё ли равно? Сложно понять, ибо можно сказать правду, ответить честно, да окажется ли то истинной? Занавесь её тумана колышется изредка от поползновений разгадать суть вещей. Разглядеть нечто подробно или в общем совершенно невозможно. Иной раз кажется – вот оно, постиг! Ан, нет... Но всё же по некоторым очертаниям, которых касается влажная ткань истины, можно угадать, подчас, про то обольстительное очарование, которым богата она.

И всё же, всё же, всё же... Скрывшись за белой плотной

занавеской тумана, округа долго переодевалась, но вышла ровно тою же, что и была. Вероятно, она хотела поразить своим новым видом, обратить на себя внимание, поэтому прибиралась долго, со тщанием и усердием, достойным неуверенной в своей привлекательности красавицы, которых так немало на белом свете.

Толь почудилось это, то ли и вправду было именно так?

Из-за осевшей на иглах дождевой воды, сосны делаются голубыми. Разве терзается кто, что это не навсегда? Заботит это кого? Нет?! А зря...

Солнечный свет

Чем пахнет солнечный свет? Ну, уж совершенно точно – не рынком, с ручьями, перегороженными дамбами разбухшего от воды сора и переспевших до шоколадного цвета яблок. Запах света солнца немножко, совсем капельку напоминает пыльный аромат маковых, пепельного цвета, зёрен, а так... если подумать, чудится, что ещё немного – мёдом и той шаткой свежестью промежду чистотой и болотной сыростью. Она, коли в меру, – хороша.

От пробора тропинки веет тёплом земли. Ровно расчёсанные ветром пряди трав влекут к себе всяких жуков, дабы им зарыться поглубже, но, так и не насытившись, покинуть сей бременный, обременённый немалыми прелестями, мир.

Иные жуки трубят про своё приближение наперёд, требуя наград и почестей, поклонов гроздей цветов в их лучшем богатом убранстве. И... в известный час, непременно-таки получают своё!

Те жуки, что поскромнее, да поизворотливее, наезжают целыми семьями, втихомолку, а после распоряжаются всею округой, ровно жили тут испокон, со времён того бобового царя, про которого все слыхивали, да не видывал никто.

Кузнечики, гарцуя на воображаемых лошадях, перескакивают лихо через тропинку, словно через наполненный водой ров, и не на шутку распялись, закусывают поводья ветра до скрипа в ушах.

Яркий полдень переполняет собой любого, кто наберётся смелости прямо глянуть ему в ясные голубые глаза. Говорят, глазливы они куда как более чёрных. У тех дно илисто, да мелко, а у голубых ни берега, ни мягкого песчаного исподнего, – сплошь омуты и водовороты. Посмотришь в них, и всё, пропал. Не променяешь их уж больше ни на какие.

– Так и чем пахнет он, тот ваш солнечный свет?

– Улыбкой мамы, навстречу первенцу, прикосновением любимого, мокрым носом щенка... Да чем угодно вашей душе! Если она, конечно, есть...

Приметы времени

– Ты что, увольняешься?

Я изумлённо глянул на сослуживца и пожал плечами:

– Да нет... вроде. А с чего ты так решил?

– Ну, как же! – Хмыкнул мой прозорливый товарищ. –

На столе порядочек, ни рассыпанного кофе, ни опилок от карандаша!

– Стружек... – Машинально поправил я, и переспросил:

– Так с чего такие фантазии про моё увольнение, не пойму!

И наш непревзойдённый бездельник, второгодник и многократный чемпион по шахматам между мужскими уборными факультета психологии и геологии неназванного университета, присев на угол моего стола, в двух словах растолковал мне метафизику неведомой мне доселе приметы.

– Видишь ли, человеку свойственно обживать пространство в общем, и место обитания, в частности. Подстраивать его под свои потребности, дабы исключить напряжение из своего энергетического поля. У каждого из нас неодинаковая длина рук-ног и туловища, а посему – даже стакан с карандашами у каждого стоит там, куда ему будет удобнее дотянуться.

Привычки индивидуума обуславливают форму пространства, которая сгущается подле его потребностей. Ненужное именно ему отступает на второй план, делает незаметным, как бы несуществующим.

– Несущественным? – Невольно перебил я.

– Да, именно так. Второстепенным именно для него, неважным в данном конкретном случае.

– А что с приметой-то? – Поторопил я товарища.

– Сейчас-сейчас, мы как раз добрались до неё! – Улыбнулся он. – Так вот. Человек не цветок, которого вполне устраивает регулярный полив и уют горшка с землёй на окошке, и он, за редким исключением, стремится к переменам, которые зарождаются в его сознании исподволь. И первым проявлением неосознанного пока желания является возвращение вида рабочего места к усреднённому, обычному виду. Человек внезапно замечает крошки на своём столе, обрывки бумаги, стружки, как ты говоришь, карандаша. Тем самым он как бы платит по счетам перед переходом в следующий этап своей жизни.

– Ну, так и что, Мессинг? Ты предугадываешь большие перемены в моей судьбе?

– Не поминай всуе имя нашего досточтимого и лукавого преподавателя! Он в пятый раз не поставил мне зачёта! А про перемены... Они грядут, но необязательно физические.

– Какие же, к примеру? – Поинтересовался я, озадачен-

ный более обыкновенного пронизательностью моего визави.

– Быть может, ты намерен-таки жениться, мой друг! И, коли это действительно произойдёт, я убедительно, настоятельно прошу тебя призвать меня в свидетели сего замечательного события!

– С чего бы это? – Усмехнулся я.

– Я мастер говорить тосты и очень люблю пожать, знаешь ли! – Воскликнул мой сослуживец, лихо, по-гусарски спрыгнул со стола, едва не свалив чернильницу, но не повёл даже бровью. Впрочем, подозреваю, что даже сбей он на пол всё, что было на столе, его бы это не смутило. Ибо, – в пятый раз пересдавать зачёт самому Вольфу Григорьевичу и не удосужиться открыть конспект, это надо обладать завидным нахальством и самоуверенностью.

«Далеко пойдёт...» – Думал я, разглядывая удаляющуюся в сторону уборной спину сослуживца, и оказался прав.

За окном

Слушать тихую поступь дождя за окном – это как петь с закрытым ртом, когда хочется сделать куда как больше, чем в состоянии. А чего б не выйти, да не погладить, хотя с порога, по мокрым волосам ливня, не улыбнуться ему и не дать себя приобнять? И пускай рубаха прилипает к телу, и от висков по щекам льётся солоноватая вода, зато узнаешь тогда, что умеешь плакать не только ты...

Лес сбрасывает наземь серебристые рога сухих ветвей, будто олень. Ветер тому свидетель, он уже отстоял своё право быть собой, когда, размахнувшись, бились друг об друга: дуб с дубом, клён с клёном, ясень с ясенем. И нет нужды враждовать им теперь.

К широким коленям пней льнут дети, – совсем зелёная поросль, – глядят доверчиво снизу вверх на взрослых, что одобрительно кивают им с высоты своего немалого роста, и также, как они, тянутся к облакам, торопятса вырасти скорее. Спешат получше разглядеть небо! А уж как спешатся со скакуна юности, почнут рассматривать ту жизнь подробно, да рассудительно. Не токмо никуда не спеша, но нарочито степенно, дабы дать случай времени вовсе позабыть об себе. И уже не столь рьяно будут манить их небеса, и чаще станут

поглядывать, – что да как там, внизу, на земле.

Судачат промеж себя бездельники, что завитки облаков часто схожи с чисто вымытыми шампиньонами, а ещё больше того – на медуз из клейстера или овсяного, на воде, киселя, кой некогда резали на большие куски и подавали по постным дням на большом деревянном блюде. Может и так, им виднее.

И покуда некто разглядывал облака, день со слезами уходил в прошлое. Шурил выцветший глаз солнца на окрестности, чтобы было из-за чего всплакнуть как-нибудь потом. Рана заката ещё немного кровила, но затягивалась быстро, оставляя вместо себя тонкий рубец горизонта.

А уже после – одна лишь ночь топала за окном, шлёпая босыми пятками по земле, и сбивала от скуки капли дождя с листвы одним щелчком.

Противные они...

Отчего, так часто человек отзывается на чужую боль только через сострадание к себе самому? Себялюбие – не лучшее из человеческих качеств, из сонма многих мы используем те, что требуют меньшего участия души. Затратное это дело, однако...

Детский сад на мелководье, вдали от берега. Гора, лон которой залито морскими водами, предоставила приют и убежище для молодежи рыб, крабов, да прочих двустворчатых и брюхоногих. Ей ничего не стоило выставить свой шероховатый локоток ближе к поверхности моря, а тем – не то забава, но возможность вырасти, нетронутыми ненужным вниманием. Однако ж, человек... хвала его непомерному любопытству! – найдёт возможность добраться туда, где его не ждут и подсмотреть за тем, что от него скрывают.

И в таком случае отшельники, попрятав руки-ноги в раковину, скатываются в паутину водорослей на дне. Крабы, в ужасе вращая глазами, бочком-бочком, как предвосхитивший своё появление на сцене третий пенёк в пятом ряду, скрываются за занавесом морской травы. Крупные рыбы тают в глубине, брезгливо выпятив нижнюю губу, и только малышня вся на виду. Куда ей?! Где затаиться, если некогда по-

что прозрачное тело стало обретать окраску?! Не прижмёшься уже к спасительной стене воды, слившись с нею на время, покуда пылливый взор тщится узнать в призрачной запятой юркое, но беззащитное рыбе дитя. Марказитовые глазки сияют, как крошечные маяки, в надежде обрести помощь, которой обыкновенно неоткуда взяться, ибо всем либо невдомёк, либо недосуг.

– Дама! А в в курсе, что между камней живут страшно ядовитые рыбы?

– Да ну! Вот ещё!

– Верно вам говорю. Скорпены. Третий от головы шип у этой рыбы весьма ядовит. И стоит вам пораниться об него... Ох. И не завидую я в таком случае никому!

Женщина испуганно кидается прочь, а я отправляюсь проверить своих подопечных. Рыбки, игрушечные бычки, весело резвятся и даже пытаются вовлечь меня в свои игры, но я слишком неуклюж и неповоротлив, чтобы соперничать с ними в их вновь беззаботной возне. А посему, – просто радуюсь, глядя на них.

Морская собачка, и та одобрительно скалится в мою сторону из своей каменной норы.

И всё было бы многославно²², да благостно, коли бы в четверти мили²³ от того места, где мы с рыбами праздновали победу, по берегу не ходил пацан, и под одобрительные возгласы родни не собирал маленьких медуз в сачок. Зачем? Так чтобы вынести на берег и растоптать. Противные они, говорит. Скользкие, как кисель.

²² превышающее обычную меру

²³ 1,852 км – 1 морская миля

Памятка обучающимся

Он выглядел и вёл себя безукоризненно, так представлялось ему самому. Выставив вперёд сухую с рождения, словно бы старческую руку, он постукивал пальцем по плоскому ложу камня, на котором расположился, и, судя по всему, чувствовал себя не менее, чем патрицием. Не утруждая зрение подробностями, могло показаться, будто бы он задумался об чём-то и задаёт нужную рифму нестройному табуна своих размышлений. Однако же, всё было несколько иначе. Более внимательному и любопытному, подле рака-отшельника, а это был, безо всякого сомнения именно он, стали бы видны мелкие, едва заметные рыбёшки. Новые, ещё незапятнанные, белые одежды не скрывали ни их сути, ни простодушия. По оттенку, они были почти что вровень с окружавшей их водой. Нагретые и простывшие уже мокрые простыни чередовались промеж собой. Эта самая неравномерность была призвана закалить их, приготовить к грядущим трудностям бытия, дать представление о вспылчивом норове жизни, и, как следствие, – непредсказуемости их собственной судьбы.

Впрочем, не одни лишь боги водной стихии трудились над будущностью мальков. Знамо дело, Нептуну с Посейдонном немало было забот и без того. Но тот самый рачок, чьё отшельничество начинало уже тяготить его самого, решил

развлечься назидательной беседой с малышнёй, которая, по младости лет и простоте рассуждений, принимала всё за чистую монету, доверяя всему, что ни скажут старшие.

Оно бы и не стоило так слепо, безоглядно полагаться на иных, да известное ж дело, – покуда бОльшую часть из молодых не съедят благие намерения, уцелевшим не набраться мудрости и уму разуму, не разобраться в прописях истин ни за что.

Итак! Постукивая сухощавой ладошкой по гранитной плите стола, рак отшельник вдалбливал в юные головы мальков понятия о немногом весомом хорошем, имеющем шанс затеряться среди многого дурного, как промеж водорослей пропадают вмиг золотые монеты и перстни. Обрастая морской травой до неузнаваемости, канут они навечно, оказываясь незаметными даже на самой небольшой глубине.

Шевеля губами в такт речам своего непрошеного ментора, малышки кивали согласно, а тот, едва завершив нравоучение, самым коварным манером ухватил ближайшую к нему рыбёшку за пухлую щёку, и отправил себе в рот.

Рак-отшельник, надев на себя личину обветшавшего по старости, безобидного для рыб рапана²⁴, втёрся в доверие

к малышне. Несомненно, в том есть доля вины гуляющих неподалёку расслабленных нерадением, да ленью нянек, но...

Нотации, из чьих бы не происходили уст, вольно или невольно заключающие в себе вселенскую мудрость, при всём том, часто корыстны, а подчас и лукавы, о чём нелишне помнить обучающимся всяких начальных, средних и высших учебных заведений.

О горЕ и гОре

Гора так долго сидела на берегу моря, опустив крепкие, но худые ноги в солёную воду, что задремала. Мальки бычков скакали по волосатым коленкам каменища, будто кузнечики, а она ничего, щурилась и щерилась сонно. Истома овладела ей в такой мере, что возжелай она сделать любое движение, то это повлекло бы за собой волнение и на суше, и на море.

А посему, гора позволяла детворе играть собой. Известно, ей делалось немного щекотно от того, да пусть резвится малышня, повзрослеет – набегается ещё по причине страхов и забот, – не иначе, что именно так рассуждала про себя гора.

Ну и шустрят мальки, шалея от собственных шалостей. Вот только что дёргали водоросль за хвост, как уже терзают её гриву, и не деляя различий, что совать в рот, тут же берутся грызть песчинку.

– Оставь её! Гадость! – Бормочет утёс мальку, а тот тарашит марказитовые глазёнки, но не перестаёт мусолить несъедобную крошку.

Ну, что ты будешь с ними делать? Дети...

Не дожив до иных, известных в миру забот, нет покуда

рыбёшкам никакого дела до синяка надвигающийся грозы, что разливается по горизонту. Недосужно оборачиваться и на проплывающих мимо, будь то схожие с ними или те, двуногие, от которых, так шепчет на ухо ввечеру волна, все беды и несчастья, имён которым не счесть, а из причин всего одна.

...Проблески стаяк мелких рыб в волне мерещатся седеной. И красиво то, и грустно. Скоро время на расправу, ох как скоро. Не то брезгает нами? Так торопится сбыть...

Жалью жаль

Утро будит рыбёх солнечным лучом, ерошит морское дно, проводя загорелой рукой по загривку водорослей, и нежно расправляет завитки, которые тут же сворачиваются обратно в выгоревшие добела кольца.

Рыба расхаживает под водою. Не бесцельно, отнюдь, но вынашивая известную ей одной мысль, про которую благоразумно помалкивает до поры. Изредка она останавливается, замирает на месте, парит супротив прилива и прочих, увлечённых между прочим им, что при непрестанном всеобщем кружении непременно обращает на себя всеобщее внимание... и, в довольстве собственной персоной, рыба хлопает себя плавниками по бокам, ровно с досуги, никак не с досады, как некая бабочка. Но не та, изнеженная, с мозаичными крылами, что усаживается без спросу на бутон чертополоха, дабы растеребить его, пробудить желание разглядить поскорее свои наряды, да в пляс под руку с ветром, что «всегда готов» и совершенно обязательно кавалер²⁵, – держит кренделем руку, упершись в тугой бок, точно чаша из стекла... А другая, – рыхлая немного, не высушенная ещё непомерными бабскими трудами и хворями, да беспокойством про

²⁵ партнёр в танцах

всех, жалю, которая обо всех, об каждом, любом, далёком и близком.

Надумав что-то наконец, рыба отступает в тень глубины и сытная взвесь планктона кружит возле неё, как снегопад в струях света.

...Тем временем, солнце перемешивает золотой ложкой кашицу моря, разбавляя холодное горячим, дабы угодить всем, кто выйдет к столу.

Сладкие волны тёплых лучей обволакивают студёные, солёные в меру, и утро делается таким осязаемым, настоящим, с неизменной горчинкой, отчего ощутить себя живым, живущим на белом свете приятно более, чем когда-либо.

– Доселе?

– М-да... До сих пор.

– Можно ли ожалить жалом жалости?

– Почему ж нет?! Коли без любви... Радением²⁶ одним сыт не будешь, мало его одного.

²⁶ усердие, старание, забота

В шкатулке моря...

В шкатулке моря столько всего интересного... Как в бабушкиной коробке, где булавки с головками из ракушек, похожих на покрашенные ногти, остро заточенные, твёрдые огрызки мыла и мелок со следами зубов всех бабушкиных внуков.

В шкатулке моря – горсти перламутровых пуговиц и пуговок медуз, отпоротый пушистый ворот волны. Вырванные с корнем из прозрачной, цвета бутылочного стекла, ткани воды, пуговицы рады свободе, словно наскучило им быть привязанными к одному месту. Тянутся за ними блестящие шёлковые нитки. Четыре дырочки, четыре ниточки, одна другой длиннее, одна другой кудрявее.

В шкатулке моря – серебряные бусины пузырьков воздуха, что закипают у самого дна. Там, в тишине и сумраке, когда любой стук издали чудится, словно бы он рядом, плавают выдохом моллюски лёгкие ожерелья. Да только никого не снарядили подбирать их! Так и пропадает добро, взбивая липкую плёнку воды мелкими всполохами.

Рыбам-то, тем недосужно подымать не своё. То ссоры среди них, то споры, а то разрывают совместно кружева медуз

на лоскуты, будто делят что. Которые не заняты шитьём, да распрями, составляют букеты из водорослей. Страхивая с них придонный песок, сокрушаются однообразию расцветок и скудному выбору. Им бы среди земных каких цветов поискать, но только уж тогда и рыбами им никак не бывать.

В шкатулке моря, обрезками блестящей ленты – гребневики, одетые в полосатые пижамы: серо-белые, палевые, жемчужные и золотисто-коричневые. Ну, и что ж, что малы?! Тусшеваться не в их характере. Поводят двухцветными плечами, будто на них эполеты, либо ещё какой аксельбант, плетеница из снурков. Приглядишься, так нет же – вовсе нет ничего, а гонору-то, гонору, важности сколь. Невольно поклонисься, да обойдёшь сторонкой, дабы не задеть, не препятствовать важной поступи значительного чина.

В шкатулке моря – сбывшееся давно, что ускакало верхом на морском коньке, и то, другое, которое осталось только в мечтах, и глядится в пустое зеркало поверхности воды, ибо не бывают сами по себе ни надежда, ни счастье, ни любовь.

Цапля и баклан

Высматривая что-то на земле среди деревьев, летела цапля. Угловатая, как подросток, неловкая и растерянная слегка. Ей слепили глаза позолоченные солнцем купола церкви из села неподалёку, но переменить направление птица не могла никак. Ей было нужно именно в ту сторону, куда добраться было труднее всего.

А тем временем, над бирюзовыми водами тёплого моря, под недовольные крики одинокой чайки, баклан со товарищи гнал на мелководье рыбу. Та пугалась собственной тени, но даже осознавая всю нелепость своего положения, торопилась туда, где её легче всего изловить. И имали²⁷ её бакланы: слёту-сплаву, или даже, нырнув до дна, по дороге ко вдоху, откуда, разбегаясь, словно посуху, взмывали со свисающим из авоськи клюва рыбьим хвостом. Хорошо быть ...бакланом!

...Морской климат. Мягкий, уравновешенный, располагающий к раздумьям и созерцанию. Глядя на то, как волны украдкой облизывают берег, и сам делаешься ласковее, податливее. Иглы приморских сосен – даже они куда как ме-

нее суровы наощупь, уступчивы боле, нежели их северные товарки.

Наспех глаженная ветром поверхность воды, вечно измятые её простыни, – бодрит. Горячая, как утюг, галька и нежит босые ступни, и терзает. Но всё – полюбовно, согласно, с тем удовольствием, которого почти что поровну, а иначе – расстройство одно, для одного из.

Просвет грозовых облаков цедит солнечный свет, будто сквозь протёртую пятку шерстяного носка. Быть может, пора уже штопать свои? Впрочем, пускай ещё полежат. Не набрались мы ещё вдоволь тепла и радости. Солнца, как не велико, слишком мало, чтобы растопить всю наледь души. Не торопись, лето! Не уходи!

Очаровательная в своём мнимом несовершенстве, нескладная цапля опустилась неподалёку от церкви, золотой свет куполов которой слепил ей глаза. И чего ж той птице здесь надобно? Ведь ни пруда, ни болота в этих местах не было отродясь...

Всего-то...

– Да что ж ты, прямо на дороге-то?! Неужто негде больше поиграть?

Она огляделась вокруг, и проговорила едва слышно:

– Тут камушки...

– Какие ещё камушки? – Не понял я.

– Камушки! Мелкие! Идти не так трудно, как по крупным.

– Ну, знаешь ли... Выбор-то невелик. Или пройти немного по неудобному месту, или не остережёшься, да проедет телега, раздавит колесом, как скорлупку.

После моих слов, её и без того большие глаза, через лупу слёз, увеличились вдвое. И хотя она не сказала ни единого слова кроме, не спросила ни о чём, я предложил свою помощь сам:

– Тебе куда надо-то? Давай, донесу! – И нежно обхватил её за круглую талию.

От неожиданности она сперва втянула голову в плечи, но после вполне доверилась мне и, указав направление, склонилась набок милую головку.

Сделав не более пары шагов, я опустил её на вымощенную гладкими листьями подорожника, тропинку.

– Вот... здесь тебе будет половчее. – Рассудил я.

...Взамен пустяшной услуги я получил нешуточную признательность и хорошее настроение на целый день.

Всем встречным барышням я кланялся искренне и любезно, а мужчинам пожимал руки, отыскивая для каждого некое приятное, приличное моменту выражение. И кажется даже, моё довольство самим собой передавалось окружающим. Мужчины приветственно приподнимали шляпы, стискивали мою руку чуть крепче обыкновенного, барышни открыто кокетничали, а их маменьки позабыв одёрнуть чадо, улыбались сами, впрочем, для приличия прикрыв платочком губы.

А всего-то... По дороге в купальню я перенёс через дорогу улитку.

Сойка

Обыкновенно скрытная и сдержанная, сойка ворвалась в свой дом посреди листвы дуба и хлопнула веткой, как дверью, да так, что зелёные ещё жёлуди просыпались горохом из карманов дерева, изумлённого поведением жилицы.

Сойка кудахтала курой и охала, повторяла нечто невразумительное, что переняла из подслушанного у людей. Крайнее её возмущение чем-то, случившимся незадолго перед тем, было столь явным, что всякому очевидцу делалось не то, чтобы совестно не посочувствовать, но любопытно принять в птице участие.

Скоро под деревом собралась довольно приличная толпа сострадателей, которые, не вполне понимая причин происходящего переполоха, но обрадованные возможностью излить скопившееся, между делом и в общем, недовольство жизнью, споро перешли от «бедненькая птичка, кто тебя обидел» до «обидчик должен быть наказан».

А тем временем, убедившись, что зрителей более, чем достаточно, сойка перестала хлопать себя крылами по бокам, и оборотившись к ним своей филейной частью, изобразила то, что предпринимают обычно птицы прежде чем взлететь.

Впрочем, сойка-то никуда не собиралась!..

Расслышав гневные вопли толпы, не удостоив вниманием палки и камни, летящие к ней навверх, при упоминании ружья, имеющего в наличии у сторожа, сойка слегка, совсем немного занервничала, но памятуя крайней скаредности мужичка, усмехнулась и произвела некий отвратительный звук, напоминающий разом простуженный смех местного звонаря, скрип телеги и качелей, что раздавался иногда со стороны барской усадьбы.

...В оправе утренней и вечерней зорь, да в сопровождении скрежета, производимого неутомимой птицей, прошла вся ночь, которая оказалась самой беспокойной для жителей, населяющих эту округу, где в одном месте сошлись два порока: неблагодарность и любопытство.

Казалось...

Казалось, небо и море поменялись местами. На полотне небосвода, крупными мазками и малыми красками были нарисованы волны, шторм не менее девяти баллов по шкале Бофорта. Вода же, ровная, как отглаженная скатерть, казалась раскинутой для того, чтобы остыла перед тем, как убрать её в шкаф. И вода неспешно стыла, прислушиваясь к тому, что делается у неё на глубине, как к сытому бурчанию в животе.

Ну, а там... там происходило всё, как и обыкновенно бывает в морях. Послушное морскому течению мерцание водорослей давало приют немалому числу мальков. Там же, среди морской травы, сообща паслись сеголетки, и по-одиночке – придонные интроверты, что избегали встреч не то с чужими, но и с себе подобными.

На застеленных плюшевыми покрывалами пуфиках и банкетках, позабытыми чашечками лежали опрокинутые навзничь или перевёрнутые вверх дном рапаны²⁸. Противу наземного здравомыслия, первые были полны, тогда как другие свободны, и ожидали новых жильцов, среди которых пер-

²⁸ морские брюхоногие моллюски

выми на очереди стояли раки-отшельники. Прежние скорлупки сделались им тесны и темны.

Сотворённая из той же тьмы, осторожная и обходительная, на мгновение показалась нокотница²⁹, игольчатая акула, катран. Уют обширного её жилища усугубился плотной драпировкой мути из-за многих ливней на морском берегу. Выпятив нижнюю губу, акула неторопливо ощупывала мелководье, вспоминая, как мать водила их с сёстрами по этим местам, покуда они не подросли, а после увела их от берега, туда, где водится более крупная рыба, посытнее.

Казалось, небо и море поменялись местами... Но это только почудилось так.

²⁹ *Squalus Acanthias*

Благодарность

Соловьи, эти баловни людской молвы, как самой судьбы, задирали крошечную, меньше их самих жабку, прибившуюся ко двору во время очередного ливня. Набравшись сил, как нахальства, птицы делали вид, что разучились летать и роняли себя на малышку. Они то задевали её всклокоченным жабо перьев на груди, то царапали клювом или когтем, не разбирая, куда попадут. В перерывах между набегам, соловьишки яростно откусывали от почти чёрной вишенки, что затерялась незамеченной прочими лакомками.

Отважная жабёнка отмахивалась крохотными ручками от нападавших, как от мошкеры и одновременно пыталась ухватиться за скользкий край лохани, неосторожно позабытой хозяйкой у порога. По всей видимости, жабка поскользнулась, оступившись на подножке струй дождя, и оказалась в том месте, именно которого намеревалась избежать.

Заметив происходившее непотребство, я счёл необходимым вмешаться. Отогнав соловьёв, подхватил малышку под живот, осторожно пересадил на широкий лист кубышки, который простирался с берега до воды, наподобие сходней, и предложил жабке остаться погостить, а в случае, если ей покажется подле нас покойно, то и вовсе расположиться для

ПОСТОЯННОГО ЖИТЬЯ.

– Фу... какая гадость! Ты брал её в руки!

– ?! Брал, а как же ещё?

– Вымой сейчас же хорошенько! С мылом!

– А то что?

– Да как же ты не понимаешь! Они ядовитые³⁰! И ещё... бородавки от них!

– В самом деле?! – Усмехнулся я и перевернул ладонь, на которой, вместо бородавок и следов яда, всё ещё чувствовался лёгкий холод бледного животишка маленькой жабы. Точно такое же ощущение оставляет крепкое рукопожатие, когда оно намного больше, нежели вежливость и куда как сильнее, чем простая благодарность.

³⁰ жабы ядовиты на всех этапах своего жизненного цикла

Саранча

Дождь переливался с листа на лист, как в фонтане посреди городского сада. Воды было так много, что земля не успевала впитать в себя тающие небеса и они собиралась в лужи, небольшие озёра или ручьи. Поляны превращались на время в болота, неглубокие овраги в пруды...

Спасаясь от воды, кобылка, одинокая саранча, совершенно зелёная, не от сырости, а от окружающей её с рождения травы³¹, забралась на холм из намытых прежними дождями камней. Тут-то я её и заметил, да ступая прямо по воде, подобрался поближе, дабы рассмотреть названного родича кузнечика. Деваться той было некуда, и вынужденная терпеть моё присутствие, она лишь смотрела с искренним недоумением прямо мне в глаза.

Вот именно этот пристальный взгляд саранчи, – искренний, участливый, – несколько озадачил меня. На мне не было надето ничего зелёного цвета, а в её представлении съедобным могло считаться всякое, обладающее любым из подобных оттенков.

Выражение, самый взор саранчи был едва ли не по-человечьи красноречив. Да что там, – не кривя душой, это было

³¹ окраска саранчи соответствует оттенку окружающего её ландшафта во время роста

именно так, безо всяких оговорок. Сочувствие первой минуты сменилось удивлением, затем усталостью, которую сменило разочарование, отрешённость, а вскоре и вовсе безразличие. Не ко мне, к самому себе.

Будь я более внимательным, более сердечным, то не оставил бы кобылку один на один с её тревогой. Однако, вполне утолив свой никчёмный интерес, я удалился. Впрочем, ввечеру я всё же вернулся к холму, удостовериться, там ли ещё моя знакомица. Но нет, камни были уже пусты.

Следующим утром, прогуливаясь по саду, я выловил её бездыханной из пруда. Судя по виду, трагедия произошла совсем недавно, и повremени я намеренно уходить, кобылка хлебнула бы досыта не воды, а жизни, до своих полных двух лет.

Неведомо, что послужило тому причиной, – моё ли навязчивое, равнодушное любопытство или обилие дождей³², но я-таки беру всю вину на себя. Не стоило вторгаться в чужую жизнь корыстно, без намерения помочь или спросу³³. Существуют же разница меж любопытством и вниманием, в конце концов!?! Только вот не каждому она видна...

А коли спросите, в чём была та корысть... Пусть не теперь, но когда-то прежде и наверняка потом, окажетесь виноваты

³² кобылки не могут откладывать яйца при избытке влаги

³³ просьба

И ВЫ.

Отцу

В детстве меня коробило слово «отец». Оно казалось нарочито грубым, отстраняющим от родного человека. Но, с его уходом, всё поменялось. Это слово помогает не разрыдаться, хотя, если честно, довольно слабо.

Автор

При первом знакомстве с новым человеком, он всегда интересовался, есть ли у того в жизни цель. Одни принимались приглядываться, не шутит ли он, другие с серьёзным видом сочиняли на ходу нечто, что в последствии оказывалось вполне себе правдой. Но никто, ни один из них не ответил так, как ему было нужно. Он искал в жизни интереса. «Чтобы было интересно!» – Так просто говорил он, и эта очевидная правда жизни делала его в глазах окружающих не от мира сего, чудачком, который знает нечто, неведомое прочим.

Как-то раз, когда мы шли с ним после похорон родственника, бок о бок, нога в ногу, не сговариваясь, просто так выходило само собой, и он спросил меня, преувеличенно внимательно рассматривая дорогу впереди:

– Как ты к такому?

Посмотрев на его напряжённое лицо, на щёку, обморо-

женною волнением до мурашек, я ответил честно:

– В ужасе. Цепенею. – И уточнил, не скрывая испуга, – Надеюсь, ты не собираешься устроить мне подобное?!!!

– Не волнуйся, я планирую прожить до ста двадцати одного года...

Эх... лучше бы он не рассказывал про то никому, а твердил, как и прежде, что Лермонтова ему ни за что не пережить...

Каким же я был глупцом! Ведь он и вправду успокоил меня тогда, дал надежду на безмятежность, на возможность ещё немного побыть ребёнком...

В прошлой жизни шмель был певчим, не иначе. С утра пораньше он связно, но нудно голосил свои псалмы, от которых сперва делалось тоскливо, а после клонило в сон. В общем же, басок шмеля наводил на мысли о быстром течении жизни, и об её непререкаемом праве быть самым прекрасным из возможных даров. Одна беда, мы часто столь небрежны к подаркам, будь то цветок или талант, ровно так же не умеем обращаться бережно с плодами чужих, а подчас и собственных трудов.

Говорят, что усердие весьма похвально, но ради самого себя, минуя душу, – пустая трата времени. Впрочем, даже и вложи ты дюже от сердца в работу, – результат, всё одно, покроется пылью забвения когда-нибудь. А, коль скоро дело обстоит именно так, стоит ли утруждать себя, отвлекаясь от проистечения бытия? Не лучше ли отдаться на волю судьбы и приготовленных ею случайностей?

Может оно так и было в самом деле, и, по здравому рассуждению, шмелю стоило опустить крылья, присесть на ближний цветок, ожидая, покуда склюёт его птица или ветер словит в холодный кулак, наиграется, да бросит в реку. Но шмель не отдавал предпочтение уму³⁴ в ущерб сердцу, также как было глубоко безразлично, кто и что думает про него, вкупе с его ролью в круговерти вселенной. Не заботился он о себе ни в прошлом, ни в будущем, а жил одним лишь настоящим, от которого не ожидал ровным счётом ничего...

– Как это?! Для чего ж он тогда жил, этот ваш шмель?

– Так чтобы использовать данный ему дар, не вытоптать на корню возложенную на него надежду!

– Не понимаю...

– Интересно он жил! С интересом ко всему, что его окружало!

³⁴ сердце насекомого – участок трубки, которая проходит через все тело и оканчивается в мозге

– Ты знаешь, когда я по-настоящему счастлив? Когда я лежу на дне реки или моря, – всё равно где, – и гляжу на серебристое зеркало поверхности воды. Мне больше ничего не нужно, только это.

Впору

Заслонив собой кошачий глаз солнца, сбился чуб облака. Ветер сдувал его тщательно, но тщетно, так как облако неизменно возвращалось на место, и даже то, что земля понемногу отворачивала голову, разглядывая по правую руку, на востоке обкусанный мелкими зубами сосняка горизонт, никак не помогало делу.

Листья подорожника перебрасывались кузнечиками, словно бы воланами. Иногда в их шутейную перепалку встречали одуванчики, но у тех всё выходило как-то нехорошо, дурно, невпопад. Может быть, мешал их пышный начёс, а то и неловкость пальцев листвы, с которых кузнечики соскальзывали в траву, где путались и после нескоро могли выбраться обратно, чтобы вновь вступить в игру.

Бронзовик, известный на всю округу притворщик³⁵, крутился тут ж, неподалёку, делая вид, что рассматривает травинки. С сердитым гудением он ошупывал каждую, будто выбирал на базаре зелень, а сам внимательно следил за тем, как забавляются другие. Жук не мог позволить себе подоб-

³⁵ надкрылья жука чёрные, но свет, преломляясь, создаёт эффект иризации

ной праздности³⁶, но чужие праздники любил, и не сетовал, как иные, на непозволительный, недоступный ему досуг, не пенял, не завидовал сторонней радости. Да и вообще, он был большой добряк, этот бронзовик, а за сиянием его металлических доспехов скрывалась трепетная душа поэта, ибо временами, забывши обо всём, он подолгу восхищался одним-единственным цветком³⁷.

Чего мы хотим от окружающих? Чтобы те жили своей жизнью или следили за нашей? Загодя одобряя всё, что будет сделано нами или оценивая? Но дотошно или справедливо, для блезире или всурьёз?.. А оно вам, действительно, вот так и надо, – по чужим меркам?! Ведь это, как надевать одежду не по размеру. Всё одно будет не впору.

...Когда ветру удалось, наконец, справиться с непослушным седым локоном облака, солнце, прикрыв веком горизонта глаз, уже дремало безучастно. А пришедшая на смену дню ночь, ловко заправив то же самое облако за бледное ухо месяца, да щурилась близоруко, присматриваясь к своему отражению в каждом из осколков зеркала воды, разбросанных по земле...

³⁶ бронзовка находится в постоянном поиске пищи

³⁷ бронзовик может оставаться на одном цветке до двух недель

Судьба

Надтреснутый плафон леса едва пропускал свет лампы луны, что несомненно был ярок, но определённо утверждать про то можно было лишь дождавшись осени, да и то, если бы деревья уже успели побросать наземь утомившую их ношу листвы, и не были елями или соснами.

Из-под подола леса было видно круглое колено сломанного напололам ствола ясеня.

На холсте неба подсыхала небрежно написанная акварель облаков. Да и не акварель ещё, а так, сырой набросок.

Жёлтые цветы вечерней примулы, яркие, как звёзды, манили к себе доступностью, но тронуть их, оскорбить прикосновением, не поднималась рука. Не ощупываем же мы небосвод! Не треплем луну за впалые щёки, уговаривая начать. наконец, кушать, не засиживаться допоздна, а ложиться спать в одно и тоже время. Единственно, в чём можно нас упрекнуть,— что не без корысти подглядываем за ссыпающимися с высоты блёстками метеоритов, дабы загадать заветное. Вдруг, да сбудется оно.

– А какое у тебя желание?

– Не скажу!

– Ну, ладно тебе, брось жеманиться. Что тут такого?! Ведь все знают, это так, пустяки, выдумка! В самом деле хоть загадывай, хоть нет, – кому что суждено, то и будет.

– Ах если эдак, то я тем более промолчу...

Сквозняк, коим отличается вечерняя пора, пробежал промеж них холодным ручьём и прежняя теплота, что мнилась вечной, понемногу рассеялась. Ей показалось вдруг, что он не так уж добр, а ему, что она не слишком уж хороша, есть и покрасивее, и попроще. Они пришли сюда вместе, да ушли порознь, и огненный росчерк с небес утвердил то, что произошло.

– Судьба... – С горечью скажет один.

– Она. – Согласно вздохнёт другой.

Стирка

Сальный даже на вид, пар вырывается из узких ноздрей разбухшей от сырости двери в ванную. Мне интересно было бы зайти внутрь, обнять его облако, почувствовать как про-скальзывает оно сквозь пальцы, оседая на ладонях и щеках. Но, услышав глухой скрип влажных половиц под моими ногами, мать предупреждает:

– Не смей заходить, отправишься в угол!

Я неохотно отступаю назад, в полумрак коридора и направляюсь в кухню. Взвесив на весах родительской проницательности немалую толику моей неуклюжести и любопытства, мать кричит мне в спину, приоткрыв дверь в ванную:

– На кухню ни ногой! Там в баке кипятится бельё!

Чтобы вслед за тем не вскипела сама матушка и не выпала мне «по первое число», я бреду в прихожую, усаживаюсь на низкую, в треть аршина скамеечку, которую для своего удобства смастерил дед, и принимаюсь ждать, когда мать сама позовет меня на помощь, «крутить» бельё.

Прежде, чем вывесить постиранное на улицу, его нужно было хорошенько отжать, пустив между двумя барабанами, дабы успело высохнуть до того, как переменится ветер. Южный нёс к нам сажу с фабрики неподалёку, превращая бело-

снежные простыни в серые тряпки.

Обычно мать придерживала наволочку или пододеяльник, а я, вцепившись в ручку, приводившую в движение барабаны, крутил её изо всех сил. Первый раз бельё не скупилось на влагу, разве что не желало, чтобы ему плющили швы, но я наваливался телом на рукоять, отжимая постельное почти что досуха. Лишь отцовские рубахи избегали подобной участи, их мать сушила бережно, на распорках, чтобы не поломать манжеты с воротником.

Подплечники, подмышники, подворотнички, которые надо было отпороть перед тем, как топить одежду в тёплой воде. Стружки хозяйственного мыла, похожие на измельчённые тёркой финики. Вкусный запах от распаренной древесины дубовых щипцов, обваренных кипятком белья, и скользкий из-за слёз носовой платок, который мать заставляла стирать руками в тазике на табурете.

Кажется, что всё это было не для чистоты даже, не для порядка, а одних воспоминаний ради. Чтобы были! Чистыми, как снег...

Нет веры августу...

Шершни, слепни и оводы, каждый сам по себе, играли партию в теннис, но не один на один, а сами с собой. Преградой своим порывам они избрали тугую, податливую из-за жары поверхность пруда. И с обеда до сумерек было слышно нескончаемое «Ж-жух!», покуда луна, наконец, не отправила играющих спать. Как там говорится? Во всём нужна мера? Ну вот, то-то и оно.

Облако, что чудилось длинным, пушистым усом, сорвавшимся с лица Деда Мороза, неведомо как занесённым в лето, не скрывало солнца и от того казалось не помехой, но украшением неба. Ветер, сторонник совершенства талантов и добродетели, гнал облако прочь, как ненужный сор, пока оно в самом деле не рассеялось, оставив солнцу разбираться с текучкой дня самому.

Истома зноя стала виной тому, что бабочки пьянели от переизбытка сил, а жуки, лишённые их, напротив, падали на спину в траву или в пыль дороги. Перебирая ногами, они лениво топтали небосвод, им казалось, что вскорости добредут, куда надо, хотя лучшее, что их ожидало – быть отвергнутым голодным, но разборчивым птенцом. А худшее... Мало кто вспомнит себя после хруста раздавленных надкрылий.

Август собирал яркие лоскуты листвы в подарок сентябрю. По слухам, тот большой мастер плести цветные коврики лесных дорог, как интриги. А каверза осени лишь в том, что, наткав дорожек, она не оставит их для радости сердца и глаз, но задубив дождями и подсушив хорошенько морозцем, отправит под спуд снегопада, где они скоро потеряют свой праздничный вид, и сделаются в один тон со слякотью.

Август. Он лето ещё, а уже выглядывает наперёд: где там осень, загадывает встречу с нею, и, вместо того, чтобы поддать жару, студит ночи, ибо осень не любит горячих подушек, да всё раньше ложится спать.

Нет веры августу. Вовсе нет, никакой.

В самом деле...

С неподдельным, искренним интересом, детёныш лягушки наблюдал за тем, как бережно я отодвигаю руками занавес воды. Не отпускаю, как иные, пощёчин гребков, уродуя её гладкие щёки, но стараюсь не разбрызгать ни капли той радости, которой отдаёшься невольно и безраздельно, делаясь лёгким и ловким, словно дитя, что нежится под сердцем матери, с полуулыбкой прислушиваясь к тому, что его ждёт там, за пределами уюта доселе безмятежного мира.

Сдержанность, с которой вода принимает всё, что преподносит ей судьба, вызывает восхищение. Канувшее в её глубины, остаётся неузнанным, позабытым, сокрытым от посторонних взоров. Она не болтлива, вода, но не чинит препятствий тому, кто наберётся воздуха, как смелости погрузиться в пучину, дабы рассмотреть что там и как. Ну, а в тех звучных местах... Рыбы припудривают незамысловатые письмена, выведенные на песчаном дне перьями створок моллюсков. Фразы разборчивы до поры. Первый же шторм спутает все слова, переменяв порядок, смысл, так что придётся начинать всё заново: и думать, и писать, и пудрить, из-за чего всякий раз будет не так, да не то.

По течению, как по ветру, водоросли кокетливо встряхи-

вают: кто кудрями, кто длинными локонами. Украшенные рыбьей икрой, будто гроздьями янтаря, они не хвастают перед теми, кого обошли стороной, не достало кому подобной обузы, ибо, лишённые лицемерия *Primus inter pares*³⁸, они и в самом деле равны.

...Плыл я так медленно, как мог. Вода играла мной, то баюкая, то пощипывая за пальцы своими – нежными и холодными, когда я заметил пристальный взгляд лягушонка, что сидел на берегу. Он был худенький, с треть мизинца, не больше. Лягушонок рассматривал меня почтительно, словно старшего брата, причуды которого не стоит осуждать, но принимать его таким, каков есть. Время от времени лягушонок спокойно, умиротворённо вздыхал, отчего привёл меня в смятение:

– Ты чего так горестно вздыхаешь, кроха?

Малыш без труда понял если не человеческую речь, то переливающуюся через её край сердечность, и не двинулся с места, даже когда я вышел из воды, чтобы подойти к нему:

– Отчего ты грустишь? Что произошло?

Лягушонок повернулся боком, предоставив убедиться в том, что он в полном порядке, после чего вновь повернулся ко мне лицом. На первый взгляд, он был в порядке, един-

³⁸ (др.-греч. πρῶτος μεταξὺ ἴσων) – первый среди равных

ственно, казался слишком худым. Младенческий прозапас был уже растрачен, а нагулять жирок покуда не довелось, но как он был хорош! Крошечные его глаза излучали ту вселенскую мудрость, коей мы добиваемся образованием и рассуждениями.

Легко можно было догадаться, что, прибыв в наши места ночью, с попутной грозой, лягушонок был утомлён дорогой и просто-напросто осматривался, чтобы решить, – оставаться ли ему тут насовсем или обождать следующего ливня. Только и всего.

...Вечно мы что-то сочиняем, надумываем сложности. В действительности, всё гораздо проще: хорошее нельзя спутать с плохим, те, которые отыскивают в чёрном белый цвет, несомненно лукавят. Полутона сомнений? Ну, куда же без них! Если, конечно есть у человека совесть, при наличии которой мир делается цветным для всех.

Мало ли что

Пёс, со всей страстью не вполне ещё исчерпавшей себя юности, составлял гербарий запахов. Поначалу он делал это с распахнутыми глазами. Позже, когда в его записной книжке скопилось немало меток, он, проверяя себя, сперва прикрывал глаза, потом вдыхал каплю воздуха, дабы распознать , и уж затем рассматривал его источник.

Надо признаться, пёс ни разу не ошибся, и в том не было его заслуги, но одно лишь врождённое умение, полученное вместе с нелепым для любой, уважающей себя собаки, «коровым» окрасом, белым в коричневых разводах.

Впрочем, хозяева пса, и их многочисленные гости, умилялись сходству собаки с бодёнушкой³⁹, отчего относились к ней куда как ласковее, нежели к иным обитателям двора.

Даже хозяин, мужчина строгий, брезгливый не только с посторонними, но и в отношении с близкими, к собаке несомненно благоволил. Он впускал её в спальню, позволяя ночевать в своей постели, и, судя по шерсти на подушках, не только в ногах,— про это, с непониманием к причуде барина, нередко шепталась прислуга.

Хозяин часто бывал вне дома, посему больше всего вре-

³⁹ корова

мени собака проводила в обществе хозяйки, которая купала и вычёсывала её после каждой прогулки, целовала в нос и если плакала, – такое часто иногда случается с замужними дамами, – то, обнимая за шею собаку, прятала лицо у неё на груди. Быть может именно из-за того, чувствуя в хозяйке слабость, собака, хотя и любила её, но плохо слушалась вне комнат.

На прогулках, влекомая запахами, заморожённая ими, собака вынуждала хозяйку сойти, против её воли, с дорожки парка в чащу или кусты. В такие минуты женщина чувствовала себя не только обиженной, но и обманутой. Дома, пока она собственноручно отмывала собаку от следов прогулки, а вычёсывая репы из шерсти, выговаривала ей про доверие, как неразумному ребёнку. Но собака делала вид, что не понимает укоризны, мерно размахивала хвостом и облизывала солёные от слёз щёки хозяйки.

Но, как это и случается, неким «однажды», всё переменялось в одночасье.

Как-то раз, собака увлекла за собой хозяйку дальше обыкновенного, и они почти что дошли до тракта⁴⁰, сквозь придорожное редколесье уже можно было угадать его заезженную залысину. Там же, почти одновременно, женщина и со-

⁴⁰ большая проезжая дорога

бака заметили ежа, похожего на низкий, обмётанный лихорадкой инея пучок травы. Для собаки это была первая в жизни встреча с диковинным зверем, но она решила, что, коли тот невелик, в случае чего она справится с ним... Решающими оказались новый запах и старое доброе любопытство. Собака устремилась к ежу, который, не особо рассчитывая на надёжность своего умения сворачиваться в колючий шар, припустился наутёк... в сторону тракта, где уже был слышен звук приближающихся подвод с сеном, что с грохотом, в тумане пыли, неумолимо приближались к тому месту, куда, не помня себя, бежал перепуганный ёж.

Несчастья было не миновать, как вдруг:

– Ёжичка!!! Не на дорогу!!!!!!!!!!!!!! – Закричала, что было мочи женщина, и ёж, а за ним собака, остановились ровно там, где их застал этот истошный вопль.

Покуда подводы отстучали мимо по тракту своё, собака с хозяйкою и их случайный знакомец отдышались, умерив стук своих сердец, да разошлись, каждый в свою сторону. Всякому досталось по его заслугам, особенно, ежели иметь в виду справедливость по Цицерону⁴¹, а не необоснованное высокомерие арийцев образца 1937 года.

Собака весь путь до дома оглядывалась на розовую от вол-

⁴¹ лат. suum cuique

нения хозяйку, и ни один из запахов, – знакомых или непонятных ещё, – не отвлек её от того. Ведь если неведомые дикие колючие звери слушаются ту, к которой он ... так близко, значит не так она проста. Лучше уж, пускай будет на виду, а то, мало ли что...

Тем же вечером, за обедом, и все долгие долгие годы, что собака была рядом, ей не приходилось выбирать, – с кем быть. На прогулке она шла так, чтоб непременно касаться хозяйки, а дома... дома она укладывала голову ей на колени и делала вид, что спит. Ибо, нужно быть всегда начеку. Помните? – «А то, мало ли что...»

Почти что осень...

В высоком небе – мелкая рыбья чешуя облаков. Под ногами – нежные пушистые кисти тимофеевки. Кажется, акварель неба расписана именно ими.

Рассвет был тут, только что. Подпалив сосняк, он ушёл восвояси, а стволы сосен так и остались тлеть до следующего рассвета, а на его месте вырос подсолнух солнца. Тот зрел на стебле сосны почти до полудня, покуда не взмыл к вершине холма дня. Впрочем, распробовать, ощутить вполне вкус дарованного ему шанса и остаться на высоте, смог подсолнух недолго. Эх, да покатился он, цепляясь лепестками, за всех и вся, что попадалось ему на дороге. Вроде и не скорее, чем взбирался он, а чудится, что именно так: наспех, впопыхах, ни на кого не глядя, дабы кинуться в омут ночи, ибо вновь должен добыть для утреннего леса, что полон малахита с изумрудами, иного убранства – оправленного в золото янтаря. Скоро теряет рассвет то золото, не жалеет и янтарь, топит его, питая сосны.

В том же сосняке, телята косули тревожат мерным своим сопением травинки на дне оврага. Тепло и спокойно им в его горсти до поры.

Следы молоденьких лесных козочек на песке столь тро-

гательны: пяточка-носочек, пяточка носочек. Будто играли они друг с другом, лепили абрикосовое песочное печенье.

– Мама, ма-а-ам! Попробуй, как вкусно!

Ну... ещё бы невкусно, особенно с маминым-то молочком...

Сгорбившейся тенью человека кажется серебристый пень, хотя он уже и сам – тень. Тень прожитой жизни.

Преет яблоком земля. Почти что середина августа. Осень почти...

Под вуалью морщин

Вы знаете, как варят вишневое варенье? Скажете – всяк по-разному. Ну, а верный способ есть? Самый вкусный или самый правильный? Опишу свой, хотя и не просил никто.

Беру спелых ягод вишни не меньше пуда, недолго вымачиваю с поварской солью, дабы выселить возможных жильцов. Омываю вишенки после, как младенцев: со тщанием, в трёх водах, да затем, от утренней зари до полуночи тешу себя тем, что изгоняю из их сердец камни уныния и разочарования, что в просторечии, промеж кухарок, именуют косточками. Непременно происходит так, что пятнами вишнёвой крови оказывается обрызгано всё округ: одежда, стены, кот, домашние, что забредают «случайно» или спросить про что-нибудь «очень важное». Малая толика попадает и на паука, который мудро растянул свой гамак между листьев столетника.

Свободные от бремени ягодки помещаю в медные тазы и задабриваю, умащиваю сладостью сахарного песка. Так, чтобы было необидно, на каждый фунт вишен добавляю ровно столько же сахару, а то и в полтора раза больше.

Убедившись, что все довольны, прикрыв тазы чистым по-

лотном, оглядываю я окровавленную кухню, беру на руки кота, в одночасье сделавшегося розовым и иду вздремнуть, ибо сил остаётся только на сон.

После пробуждения, первым делом отправляюсь проверить, как там вишни. Кухня похожа на поле боя, а ягоды в тазах истомились, стаяли соком, что растопил самую последнюю песчинку сахару, и теперь, со всею осторожностью следует взогреть немного и сам таз, и его содержимое, дабы вернуть вишенкам прежнюю упругость и стать.

Семь дён с ягодами в тазах вожусь, как с родными. Грею их до розовой пены, которую снимаю деревянной ложкой в фарфоровое блюдечко, и даю ягодам остыть, изнежится и окрепнуть. При этом дух в доме стоит пряный, праздничный. Возле окон вьются пчёлы с осами, подле блюдец толкуются божьи коровки и детвора. Липкими пенками не брезгают даже отцы семейства, но вкушают их охотно, солидно – с белой сдобною булкой и чаем, а то со сливками.

Когда кипящие напоследок вишни разливаются по глиняным крынкам, им повязывают галстух бечёвки поверх чистой кипячёной тряпицы, дабы не сползла с горлышка, и отправляют в подпол «на потом». Домашние грустят, но не протестуют, а принимаются мечтать об ненастье и холодном осеннем дожде. Тогда уж будет позволено велеть принести

«всяких вареньев к чаю», среди которых самое любимое – вишнёвое. В его густом сиропе увязли воспоминания о тающем на ветках снеге; сторожкой потрескивании открывающихся почек, дурмане запаха белых цветов, дыме костров последних ночных заморозков... да обо всём-всём лете! С его купаниями под щекотное покусывание карасей, с гуляниями в лёгкой одежде и радостями, в которых куда как больше из детства и безмятежности, чем причин, по которым прячет жизнь под вуалью морщин истинные лица людей.

Ни-че-го...

Однажды, ночь уговорила-таки грозу показать ей – что оно такое, дневной свет. И расстаралась та, да что ли волновалась слишком, – позабыла, где спрятала ключи от сундуков с громом, из-за того смогла лишь часто моргать белыми глазами, и ничего больше. Не глянулся ночи такой день, да не скажешь, не пожалуешься, ибо столь хлопот, и всё, дабы ей же угодить. Только, по сердоболию своему, чудилось ночи, будто бы огромный поезд наезжает на лес, а поскольку тому ни за что не сойти со своего места, от того делалось, если не жутко, то несколько беспокойно.

Эдак было наемдни. Напоследок позаботилась гроза налить в овражки доверху воды, промыть коврики дорог, оттереть стволы дочиста. И ведь промочила каждую складочку коры, не пропустила ни одного листочка, смыла пыль и с надкусанных, и с позолоченных...

– Неужто последняя?

– Ты про что?

– Гроза! Неужто боле не будет в этом году?! Вон и паутина уже к бороде липнет... Не то осень?

– Да типун⁴² тебе на язык!

⁴² хрящеватый болезненный нарост на конце языка у птиц

– Злая ты баба, как я погляжу. Всё б тебе меня какой хворью дарить. Невестой была тихой да несговорчивой, а теперь, что ни слово, то как мерин поддых подковой. Недоглядел я... Надо было Нюрку, подружку твою, в жёны брать!

– Так иди и бери! Вдовая она теперь. – Неожиданно спокойным голосом предложила жена.

– Как вдовая? Мишка помер? Когда?!

Мужик сделался бледным, и, невольно потирая за воротом рубахи напротив сердца, принялся вспоминать, когда свиделись они в последний раз с закадычным другом детства. Было это на кладбище перед Пасхой, Мишка там бродил промеж крестов не один, а с бродягами, которые собирали с могил угощения, оставленные для потехи душ усопших дальней и ближней роднёй.

– Бродень⁴³, да пьяница был твой дружок. – С беспокойством глядя на мужа, сказала баба. – Он уж года два как в землянке жил за погостом. Там таких, как он ... Много людей переварило то место.

Мужик с изумлением поглядел на жену, и вдруг заулыбался, показывая нехорошие зубы:

– Ну, я-то ещё живой!

– Живой, ещё какой живой. – Успокоила его жена, и припала лицом к мужнину рукаву, скрывая слёзы.

⁴³ бродяга

Она плакала, думая о том, сколь незаметно прошла жизнь, и, не проснись они завтра поутру, некому будет вспомнить о них. Ночь, вон и та оставляет отпечаток пальца луны на прозрачном стекле небес. А от них что? Ни-че-го...

Я и он

...Мы идём по лесу вдвоём, я и... он. Он – неплохой, в общем, человек, незлой, работающий, коли худо кому – поможет молча и уйдёт так же, не сказав слова, и не дожидаясь благодарности. Я... Меня тоже не очень жалуют, и, может быть, именно это обстоятельство несколько сблизило нас. Впрочем, не настолько, чтобы быть понятными друг другу.

– Гляди! Гляди! Паутина! – Трогаю я его за рукав.

– Что, испугался или брезгуешь? Смахни рукой, да и все дела. – Отвечает он.

– Как же можно?! Смотри, какая она красивая! Свисает серебряным дождиком с пня на траву, переливается на солнце!

– Странный ты. Тут, в лесу, такого добра полным полно, гребь полной ложкой, коли надо.

– Ты знаешь, надо! – Смеюсь я ему в ответ. – Очень даже надо! И паутина эта нужна, и вон тот жук, что разомлел на свету. Отнесу-ка я его в тень, пускай придёт в себя. И улитку ту уберу с дороги, а то, неровён час, наступит кто.

Он поджимает губы, но молчит и мы идём дальше до самой речки, что длинной лентой цвета неба вплетена в кудри заросшего лесом берега. У воды мы встречаем ужа. Тот

гreetся, обернув самое себя за призрачные плечи, дабы не проронить ни капли солнечного дождя.

Неподалёку, на мелководье мы заметили крупную серую ящерицу, судя по всему, она соскользнула в воду в погоне за мухой и теперь не может выбраться. Мальки клюют её светлое пузо, а рыбы покрупнее тшятся перевернуть на спину.

Покуда я взывал к Провидению, укоряя его за бессердечие, мой спутник, недолго думая, выловил ящерицу из воды, опустил на траву, а она, вместо того, чтобы спрятаться, пробежала несколько и замерла у моих ног.

Я и он – мы части одного целого. Его практическая сметка и решительность не позволяют моей восторженности и впечатлительности замкнуться во внимании лишь к себе самому. Нам непросто, мы тесним друг друга, каждый пытается отвоевать больше места, но он – невольно, а я – с умыслом. Он тешится моей близостью, как ребёнком в себе, я, безоглядно уповая на надёжность, всё же немного стесняюсь его присутствия. Но мы не можем друг без дружки: безраздельно мой мир оказался бы беспомощным, также, как тот, полностью его, сделался бы чересчур грубым, ибо для того, чтобы выказать свою слабость, нужно куда как более отваги...

Думаете, что нет? А попробуйте, вы сами, хотя раз...

Непогодица...

Под подолом облака, как под мамкиной юбкой, пряталось солнце. Словно единственное, позднее, залюбленное дитя, оно было несколько лукаво и пугливо из-за того. Облако гладило, нежило его, расправляя рыжие кудри лучей. Птицы голубили его издали, обсуждая промеж собой, сколь ясно и пригоже солнце, но так, дабы было слышно всё со стороны, ибо незаслуженная ещё, впрок, вовремя похвала, иной раз побуждает к добру сильнее хулы и наказаний.

...И да распахнулась душа облака, и полился на округу мёд рассвета, поднакаток⁴⁴ горизонта, и истекал он до тех пор, покуда не заполнил весь день, до зенита. Вот оно как, коли по добру-то, по-доброму!

Улыбалось облако, не мешало, не отвлекало своею статью, да пышностью, но теснилось к краю небес, гордилось прилично⁴⁵ солнцем, и собою, что хватило мудрости не терзать советами, не ломать чужую волю своим затаённым желанием, не точить веры в себя сомнением.

⁴⁴ доверху, по самое горлышко

⁴⁵ как подобает. как полагается

Само собой, случается иногда беспросветность неба, как промахов; а то и гром грохотом двери, что срывают, подчас, в ярости с петель; либо молния болью в сердце, да после-то – непременно тихий слепой дождик, непритворным раскаянием. Не без того, всё бывает в жизни, коли по любви, а не по злобЕ...

Под подолом облака, как под мамкиной юбкой, скрывалось солнце.

– Непогодица...

– Ну, не по году же, а так только, по месяцу, да с неделей.

Лишнее

Лес дышит порывами ветра Замирая меж них, со вкусом тянет сыроватый воздух сквозь узкие ноздри тропинок, а выдыхает легко и свободно через широко открытый, как у зевающего мышелова, зёв полян.

Добираясь до рытвины дорожной колеи, заполненной дождевой водой, косули протирают до земли лужайку полыни. Но она зарастёт, а после первого же дождя сделается будто бы нехоженой вовсе.

Горизонт роняет нечто, с горошину, которое катится всё ближе неузнанным, а на деле оказывается чёрным до синевы вОроном, что летит по проторённому раз и навсегда пути от гнезда ко гнезду. Не на две семьи живёт ворон, но на два дома. И так только для того, чтобы развлечь супругу, дабы было ей нескучно поджидать его у окошка. Всякий год подле другого, попеременно.

Рассветное солнце протаптывает себе тропинку среди деревьев, и, не брезгуя ничем, ощупывает горячей рукой слепца всё и вся округ. Оно не разбирает – хорош кто или плох, не судит, но просто делится частью своего сердечного жара, а как уж ты распорядишься им...

Молодой ёж, слегка кривоватыми, как у гнома ножками приминает траву. Та с улыбкой кланяется ему в пояс. И не переломится ведь! Да впрочем, вскоре поднимет голову, так что и не отыщешь следа: ни её покорности, ни ежа.

Слизень, и он оставляет после себя нечто, – чудный перламутровый узор на камнях и листве.

Каждый прокладывает свою тропу, но если о следах прочих часто можно судить лишь наудачу, то о том, что перед тобой прошёл человек, даже не стоит и гадать. «Здесь был...» – часто пишет он, хотя это лишнее, мог бы не тратить мела, чернил, поберёг бы сохранность лезвия ножа... И так ходит по его краю... всю свою несчастную, счастливую жизнь.

Болото

– Как ты там сказал? На дворе лохматая погода и дождь смывает с лиц горожан московскую спесь? Помилуй! То не самодовольство вовсе, но простое неумение правильно выказать гордость!

– За что?!

– Да за город, ступать по улицам которого, быть его малой частью – и то уже великая честь.. А уж насколько они чувствуют, умеют выразить то и понять, да кто как умеет её, эту гордость, нести, – вот тут уж, кому которое разумение дано. Не угадаешь.

– Ты это серьёзно?!

– Совершенно! По другому не умею!

– Верю...

Мы познакомились с ним на пороге исчезновения с карт планеты границ страны, в которой родились и выросли. Конечно, можно сказать, что карта не идёт ни в какое сравнение с мироощущением, и в самом деле это так, но, – уж как есть! В ту пору, в ответ на любой искренний энтузиазм, «знающие» люди, скептически качали головой и соглашались лишь понаблюдать за его неминуемым увяданием. «Все мы там были!» – Цедили они сквозь прокуренный оскал. Те же знатоки припоминали приснопамятные времена, в кото-

рые они сами, украшенные нимбом подвижничества, растеряли пыл, что по времени подозрительно совпадало с обретением ими семьи и наследников.

Помню, как я впервые переступил порог маленькой комнатухи с банальной табличкой и интригующей надписью на двери «Лаборатория морских млекопитающих». На вопрос любопытных, чем озадачены замшелые обитатели конторы, те загадочно и торжественно ответствовали:

– Толкованием языка дельфинов!

И... может, оно и было б именно так, если бы... Но, обо всём по-порядку.

Служащие, которые именовались научными работниками, занимались по сути тем, что создавали видимость обдумывания мировых и узкоспециальных проблем, хотя в самом деле активно балбесничали в ожидании очередного полевого сезона, который и придавал их жизни хотя какой-то смысл. Они не очень-то скрывали сего факта, и сквозь тонкий налёт учёности каждого проглядывала личина добротного обывателя, главной заботой коего было славно покушать, и на сытый же желудок поговорить об умном.

Руководитель коллектива обретался в отдельном кабинете. Дабы быть принятым в славное сообщество подначаль-

ных ему оболтусов, мне пришла идея предъявить под ясны очи свой скромный труд на искомую тему, над которым я работал не много, не мало, а целый год, просиживая в библиотеках с открытия и до многозначительного пыхания библиотекаря за пять минут до окончания рабочего дня. Опуск был принят благосклонно, и, после ознакомления с ним, мне было не только предложено остаться, но заветное место в грядущей экспедиции.

Впрочем, предвкушение радостей научных откровений было порядком омрачено. Восторги товарищей ограничивались ненаучными, пошлыми на мой взгляд, воспоминаниями об апельсинах, которые от нечего делать отправили на дно холодного моря во время прошлогоднего полевого сезона, да о горячих пирожках, доставленных на «кукурузнике»⁴⁶ из ближайшего посёлка.

Я не авгур⁴⁷, а временами рад такой безделице, о которой и упоминать-то стыдно, – вроде болтика, победитового⁴⁸ свёрлышка или тюбика свежего «резинового» клея, но в то время, покуда шла подготовка к полевому сезону, мне довелось повзрослеть. Я не имею в виду появление бороды или

⁴⁶ самолёт Ан-2

⁴⁷ жрец, толкующий волю богов

⁴⁸ так называли в СССР твёрдые сплавы: ВК4, ВК6, ВК8, ВК10, Т15К6(90% карбида вольфрама, 10% кобальта,углерод)

чего-то подобного. Взросление – это первый осознанный выбор, каким тебе быть. Плыть по течению, отдыхая на известных отмелях ожидаемых привилегий, либо оставить ноги сухими, и идти своей дорогой.

Просиживая часами в тайной комнате, пытаясь постичь тайну языка дельфинов, я выходил оттуда, наполненный звуками моря, на многолюдный, но, тем не менее, пустынный берег, где в задумчивых позах дремали «видавшие виды» конторщики. Они все были такими... пустоглазыми, кроме одного, умелыми руками которого бессовестно пользовались, и не ставили его ни во что.

Да... это было то биоакустическое болото, которое, к началу очередного полевого сезона, недосчиталось одной из лягушек. Я отказался от экспедиции, участием в которой так долго бредил...

- Так что ты там говорил про лохматую погоду и спесь?
- Тебе послышалось.
- Ну, что же, очень может быть...

Пора

У всякого – своя пора.

Да лишь слышится: «Пора»,
как вдруг обидно, больно, страшно...

– А то, что вовремя?! – Неважно!

Который уж день ветер пасёт облака, а тяготение⁴⁹ тешит⁵⁰ их, наполняя доверху всё, в чём можно удержать дождевую воду, так что вскоре хранить её стало не в чем. Земля тоже пресытилась, и, сколь не уговаривали её сделать «хотя ещё один глоточек», мотала головой, да сжимала губы, отчего оказались мокры все: и те, кто поил её, и она сама.

Среди тех, совершенно уже мокрых, был и некий кузничик. Первое время он радовался, что после многих недель суши появилась возможность напиться вдоволь и смыть с себя тонкого помолу летнюю пыль. Скатываясь наперегонки с каплями дождя по длинным узким горкам травы, он играл ими, любовался гладкостью огранки, чистотой и прозрачностью. Сперва кузничик искренне предавался восторгам, но вскоре, как это часто бывает, вся это сырость наскучила ему.

⁴⁹ гравитация, сила всемирного тяготения

⁵⁰ доить

Слякоть не желала оставаться на месте, но приставала к лапкам кузнечика, посему не было никакой возможности прыгнуть так же высоко и далеко, как в ведро⁵¹. Кроме того, супротив мокропогодья, в ясную пору, завсегда можно подремать над ужином, у того самого листа, которым закусывал только что. В ненастье же приходилось подолгу выискивать, где не льёт на голову вода, и после, подобрав под себя по-собачьи передние лапки, попытаться согреться-таки, наконец, и уснуть.

Только, не до безмятежности, в такую-то погоду, и сквозь дремоту кузнечик с грустью разглядывал проступившие на зелёных щеках вишни веснушки. Он никогда не видел поздней осени, посему был бы готов есть одну лишь листву деревьев, только б подглядеть – как оно всё там. Впрочем, кое о чём кузнечик уже догадывался сам, да, кроме того, слышал разговоры промеж собой муравьёв.

А были они про то, что нынешний август больше похож на октябрь, про сгнувшем в ливне стаде тли, который не успели загнать в тёплый подземный хлев муравейника, не скрывали муравьи и того, что, по причине бескормицы, не все из них переживут зиму. Разглядывая друг друга, гадали они, кто первым покинет их стройные ряды, а кузнечик сделался столь ослаб, что даже не смог отыскать в себе сил для сочув-

⁵¹ сухая, ясная погода

ствия, ибо его собственный конец делался тем ближе, чем больше от локонов солнечного света отрезывал день, давая всё больший простор ночи.

Кто-то возразит, мол, – всему своя пора. Оно, может, и верно, но разве спросил кто прежде, согласны мы на такое или нет.

Сказка на ночь

Светлый ещё лист закатного неба заляпан чернилами облаков.

Что там, под ними?.. Писанное набело небо. Ёлочные игрушки звёзд, что срываясь веток бесконечности, бьются о каменный пол вечности, распадаясь на многие осколки. Снежок луны, измятый кем-то в надежде бросить в окошко той, один лишь взгляд на которую сбивал дыхание. Он некогда выпал за ненадобностью из хладных от волнения рук, ибо неподнятый в твою сторону взор, волна сомкнутых в полуулыбке губ куда как красноречивее и молчания, и самих слов.

– И что? Они поженились?!

– Кто?

– Ну, тот, который не стал кидать снежок луны в окошко и та, что улыбнулась ему...

– Ах... ты про это... – Улыбнулся я, подвёртывая край одеяла под ноги внучке. – Ну, а как же! Конечно! Луна-то, вон она где, так и осталась. Целёхонька. Как и окошко у той девушки.

– А что у них потом было, деда? Расскажи!

– Так то, что у всех, моя милая: свадьба, детишки. Жизнь!

Довольная ответом, девочка положила под щёку сложенные вместе ладошки и закрыла глаза.

Подойдя к окну поправить гардины, я заметил, что ветер уже стёр наскоро с неба чернила облаков, а немного осунувшаяся со вчерашней ночи луна морщится, словно от уже привычной, ноющей зубной боли. Она явно страдала. О причинах можно было лишь гадать, но дело было не в дурных зубах. Начни я разбираться, то виной тому явно оказались бы сердечные дела. Недаром же луна хранит себя в первозданном виде, на память о прикосновениях дорогого ей существа.

Я помотал головой и тихо рассмеялся, рассудив, что внучке знать про то совершенно не к чему. Девочка она добрая, впечатлительная, и придётся мне звать доктора, который согласится полечить луну...

Следующий раз

Это было первое утро, когда вишню за окном оставило в покое непоседливое семейство соловьёв, что целое лето плело из её тонких веточек такие косы, которые ветру не всегда удавалось распутать, да расчесать даже к рассвету. Но, как известно, пустота ненасытна, и место соловьёв заняла синица. Солидно, обстоятельно и многозначительно облетела она сад, посидела на берегу пруда, оценивающе глянула на меня сквозь стекло, и даже, кажется, – надеюсь на то! – едва заметно кивнула.

Порешив не тревожить вишню, синица, прилично расставив ноги, присела на ветку шиповника. Небольшую же жёлтую сливу, которую принесла с собой, пристроила между занозистых плодов, дабы не свалилась на землю, и не пришлось её после вновь отмывать от песка.

Со стороны того было не понять, но синица была озадачена тем, что время, кой понукает всех само, принуждало совершить нечто, чего птице не хотелось совершенно. Ну, вот ни капельки!

Было довольно тепло, тем не менее, синица заметно зябла. Если поВерху ветерок ещё нежно ерошил мягкие пёрышки,

обдувая их до кожи, то от земли, птица как раз расположилась на нижней ветке, уже порядком сквозило.

День, особенно ближе к его середине, покуда ещё был способен развеять любые сомнения относительно времени года, – было несомненное, безоговорочное лето, что вытапливало последние капли воли, оставляя одну лишь безмятежность и негу. Да и к чему та воля, коли вокруг тёплая тишь, вялые, томлёные солнечным жаром плоды или вовсе сбитые с толку насекомые, что едва ли не сами просятся в полуоткрытый из-за зноя рот.

Но, вернёмся к нашей птице. Синица по всю свою жизнь, с самого рождения, причисляла себя к доверенным иной стороны бытия, вестникам холода. И в её власти, так мнилось, было приблизить или отдалить его. Жёлтая слива, от которой теперь суеверная птица даже отстранилась слегка, была не столько пищей, но знаком, чертой, переступи её вдруг синица, и всё – конец лету. Дело в том, что этот фрукт был обитаем, с червячком, попросившимся у сливы на постой, а синица по всю осень и зиму держала пост, так что, выуди она из рыхлой мякоти жильца, это могло бы отсрочить пору листопада.

Неведомо, что намеревалась, в итоге выбрать синица, ибо вмешался поспевающий всюду ветер. Задев шиповник пле-

чом, он обронил золотую, как осенний лист сливу прямо на дно пруда. Ну, как взметалась синица промежду тенью леса и солнцепёком полян, не зная, как быть: скажется ли нынче осень, даст о себе знать, либо расплатой за нерадение, пришлёт вместо себя зиму, с тем, чтобы после, со всем почтением, да в известный срок.

Участь той синицы казалась горька, в полном отчаянии она шептала, что не позволит себе больше никогда подобной промашки. И оно бы всё ничего, только вот в чём беда, – не для всякого случится он, следующий раз, да поделать с этим уж ничего было нельзя...

Уже и всего

Воскресенье. Выходной. Бабушка ждёт нас в гости.

– Что ж ты такой... – В сердцах говорит мать, встряхивая за плечи. – Придётся ехать назад.

И мы возвращаемся, в третий уже раз. Так-то мы почти что добрались до дома бабушки, но за квартал от него – неглубокий, узкий, во всю ширину тротуара, сток для воды, и у меня никак не получается преодолеть это препятствие. Всякий раз, когда заносу ногу, дабы переступить, у меня кружится голова, сандалии цепляются одна за другую, и я падаю. Конечно же, всё белое и праздничное, во что нарядила меня мать, пачкается, кое-что даже рвётся. И хотя до бабушки уже совсем ничего, мать тянет меня за собой, выдёргивая за руку, как удочкой рыбу из воды, на многолюдный берег трамвайной остановки.

Матери стыдно за меня, а мне всё равно, и нравится глазеть по сторонам. В вагоне она плавит меня своей плохо сокрытой ненавистью, а дома . понукая и командуя, моет, переодевает в чистое, чтобы через полчаса я снова не сумел справиться с собой.

Время близится к обеду. Красиво одетый народ несёт в авоськах из гастронома и булочной свой улов: румяный батон и рядом с куском сыру в серой бумаге, тает, расплываясь тёмным пятном по обёртке, кусок сливочного масла. На людях мать сдерживается, и от того чуть менее строга, но я всё равно боюсь проявлений её гнева, к тому же – очень хочу есть.

Мы приближаемся к злосчастной канаве. Она – словно змея на асфальте, – дремлет, чтобы в нужный момент попытаться ужалить меня, и я знаю, что опять не сумею справиться со страхом и упаду вновь.

В последний момент мать подхватывает меня на руки. Заметив, вероятно, как ватные от страха ноги скручиваются, подобно ниткам, на которые бабушка, когда шьёт, обыкновенно плюёт, чтобы половчее скрутить в узелок. Но я не чувствую, что спасён, ибо слышу тяжёлое дыхание матери и запах, в котором ничего родного, но одни лишь отдушки мыла, чистоты, порядка. И так хочется вырваться, но мать крепко прижимает меня к себе.

Куда как охотнее я бы обошёл это место по другой дороге, или даже заявился к бабушке таким, как есть: со сбитыми коленками, с одуванчиком в перепачканной руке. Бабуля не стала бы охать и негодовать, она б поняла, что это всё не из-

за моей неуклюжести, но там, поперёк асфальта, нечто, что неспроста, не на шутку пугает меня, не даёт пройти. Да и не дело это – заставлять ребёнка переступить через... себя.

В ту пору мне было уже три, а матери – всего двадцать шесть. Такие вот дела...

Когда-нибудь

Шагая на рассвете по траве, мы будим утомлённых за ночь бабочек. Спросонья они взлетают невысоко, и кажется, словно гадают кто «на любовь», срывая ненужные уже лепестки с невзрачного цветка виданного не раз оттенка шамуа⁵².

Полдень, посыпает тропинку кузнечиками, кидается ими, как рисом под ноги новобрачных.

И тотчас, будто ни с чего, в суете муравьёв под ногами находишь нечто общее со своею, столь необходимой и зряшной, в тот же час, да вспоминается слышанный некогда разговор, в коем один из голосов непременно твой:

- Давай, сходим?..
- Обязательно!
- А когда?!
- Как-нибудь потом...

«Когда-нибудь...» – это почти всегда означает только одно: никогда... Ведь, рано или поздно, все мы сходим с карусели земли, и надо успеть вдоволь насладиться этим круже-

⁵² светло-коричневый, похожий на цвет верблюжьей шерсти

нием.